

КОРК САҢА



- [Жорж Санд](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [КОММЕНТАРИИ](#)
 - [notes](#)
 - [Note1](#)
 - [Note2](#)
-

Жорж Санд
Леоне Леони

Мы были в Венеции. Холод и дождь прогнали прохожих и карнавальные маски с площади и набережных. Ночь была темной и молчаливой. Издали доносился лишь монотонный рокот волн Адриатики, бившихся об островки, да слышались оклики вахтенных с фрегата, стерегущего вход в канал Сан-Джорджо, попеременно с ответными возгласами с борта дозорной шхуны. Во всех палаццо и театрах шумел веселый карнавал, но за окнами все было хмуро, и свет фонарей отражался на мокрых плитах; время от времени раздавались шаги какой-нибудь запоздалой маски, закутанной в плащ.

Нас было только двое в просторной комнате прежнего палаццо Нази, расположенного на Словенской набережной и превращенного ныне в гостиницу, самую лучшую в Венеции. Несколько одиноких свечей на столах и отблеск камина слабо освещали огромную комнату; колебания пламени, казалось, приводили в движение аллегорические фигуры божеств на расписанном фресками потолке. Жюльетте нездоровилось, и она отказалась выйти из дому. Улегшись на диван и укутавшись в свое горностаевое манто, она казалось, покоилась в легком сне, а я бесшумно ходил по ковру, покуривая сигареты «Серральо».

Нам, в том краю, откуда я родом, известно некое душевное состояние, которое, думается мне, характерно именно для испанцев. Это своего рода невозмутимое спокойствие, которое отнюдь не исключает, как скажем, у представителей германских народов или завсегдатаев восточных кафе, работу мысли. Наш разум вовсе не притупляется и при том состоянии отрешенности, которое, казалось, целиком завладевает нами. Когда мы, куря сигару за сигарой, целыми часами размеренно шагаем по одним и тем же плиткам мозаичного пола, ни на дюйм не отступая в сторону, именно в это время происходит у нас то, что можно было бы назвать умственным пищеварением; в такие минуты возникают важные решения, и пробудившиеся страсти утихают, порождая энергические поступки. Никогда испанец не бывает более спокоен, чем в то время, когда он вынашивает благородный или злодейский замысел. Что до меня, то я

обдумывал тогда свое намерение; но в намерении этом не было ничего героического и ничего ужасного. Когда я обошел комнату раз шестьдесят и выкурил с дюжину сигарет, решение мое созрело. Я остановился подле дивана и, не смущаясь тем, что моя молодая подруга спит, обратился к ней:

— Жюльетта, хотите ли вы быть моей женой?

Она открыла глаза и молча взглянула на меня. Полагая, что она не расслышала моего вопроса, я повторил его.

— Я все прекрасно слышала, — ответила она безучастно и снова умолкла.

Я решил, что предложение мое ей не понравилось, и ощутил страшнейший приступ гнева и боли, но из уважения к испанской степенности я ничем себя не выдал и снова зашагал по комнате.

Когда я делал седьмой круг, Жюльетта остановила меня и спросила:

— К чему это?

Я сделал еще три круга по комнате; затем бросил сигару, подвинул стул и сел возле молодой женщины.

— Ваше положение в свете, — сказал я ей, — должно быть, терзает вас?

— Я знаю, — ответила она, поднимая чудесную головку и глядя на меня своими голубыми глазами, во взоре которых, казалось, равнодушие стремилось побороть грусть, — да, я знаю, дорогой Алео, что моя репутация в свете непоправимо запятнана я содержанка.

— Мы все это перечеркнем, Жюльетта, мое имя снимет пятно с вашего.

— Гордость грандов! — молвила она со вздохом. Затем она внезапно повернулась ко мне; схватив мою руку и, вопреки моей воле, поднеся ее к своим губам, она добавила: — Так это правда? Вы готовы на мне жениться, Бустаменте? Боже мой! Боже мой! К какому сравнению вы меня невольно принуждаете!

— Что вы хотите этим сказать, дорогое дитя мое? — спросил я.

Она мне не ответила и залилась слезами.

Эти слезы, причину которых я слишком хорошо понимал, глубоко задели меня. Но я тут же подавил вспышку бешенства, которую они во мне вызвали, и, приблизившись, сел возле Жюльетты.

— Бедняжка, — молвил я, — так эта рана все еще не затянулась?

— Вы разрешили мне плакать, — отвечала она, — это было первое наше условие.

— Поплачь, моя бедная, обиженная девочка! — сказал я ей. — А потом выслушай меня и ответь.

Она вытерла слезы и вложила свою руку в мою.

— Жюльетта, — продолжал я, — когда вы называете себя соержанкой, вы просто не в своем уме. Какое вам дело до мнения и грубой болтовни каких-то глупцов? Вы моя спутница, моя подруга, моя возлюбленная.

— О да, увы! — откликнулась она. — Я твоя любовница, Алео, и в этом весь мой позор; мне следовало бы скорее умереть, чем вверять такому благородному сердцу, как твое, обладание сердцем, в котором все уже почти угасло.

— Мы постепенно оживим тлеющий в нем пепел, дорогая моя Жюльетта; позволь мне надеяться, что там таится хотя бы одна еще искорка и что я смогу ее отыскать.

— Да, да, я тоже надеюсь, я этого хочу! — живо отозвалась она. — Итак, я буду твоей женой? Но для чего? Разве я стану больше любить тебя? Разве ты станешь более уверен во мне?

— Я буду знать, что ты стала счастливее, и от этого буду счастливее сам.

— Счастливее? Вы ошибаетесь: с вами я счастлива настолько, насколько вообще можно ею быть. Каким образом титул доньи Бустаменте смог бы сделать меня еще счастливее?

— Он защитил бы вас от наглого презрения света.

— Света! — воскликнула она. — Вы хотите сказать — ваших друзей? Да что такое свет? Я никогда этого не понимала. Я уже многое повидала в жизни и много поехала по земле, но так и не заметила того, что вы называете светом.

— Я знаю, что ты до сих пор жила, как зачарованная девушка под хрустальным колпаком, и все же я видел, как ты горько плакала над своей тогдашней горестной судьбой. Я дал себе слово, что предложу тебе мой титул и мое имя, как только буду уверен в твоей привязанности.

— Вы меня не поняли, дон Алео, если подумали, что плакала я от стыда. Для стыда не было места в моем сердце. В нем было достаточно других горестей, которые переполняли его и делали

нечувствительным ко всем проявлениям внешнего мира. Люби он меня по-прежнему, я была бы счастлива, даже будучи опозоренной в глазах того, что вы зовете светом.

Я был не в состоянии побороть приступ гнева, от которого весь задрожал. Я встал, чтобы снова зашагать по комнате. Жюльетта удержала меня.

— Прости, — промолвила она растроганно, — прости мне ту боль, что я тебе причиняю. Не говорить об этом — свыше моих сил.

— Так говори, Жюльетта, — ответил я, подавляя горестный вздох, — говори же, если это способно тебя утешить! Но неужто ты так и не можешь его забыть, когда все, что тебя окружает, направлено к тому, чтобы приобщить тебя к иной жизни, иному счастью, иной любви!

— Все, что меня окружает! — воскликнула Жюльетта взволнованно. — Да разве мы не в Венеции?

Она встала и подошла к окну. Ее юбка из белой тафты ложилась тысячью складок вокруг ее хрупкой талии. Ее темные волосы, выскользнув из-под больших булавок чеканного золота, которые их почти не удерживали, ниспадали ей на спину пахучей шелковистой волною. Ее щеки, тронутые бледным румянцем, ее нежная и в то же время грустная улыбка делали эту женщину такой прекрасной, что я позабыл обо всем, что она говорила, и подошел к ней, чтобы сжать ее в своих объятиях. Но она отдернула оконные шторы и, глядя сквозь стекла, на которых заблестел влажный луч луны, воскликнула:

— О Венеция! Как ты изменилась! Какой прекрасной я тебя видела когда-то и какой пустынной и унылой кажешься ты мне сегодня!

— Что вы говорите, Жюльетта? — воскликнул, в свою очередь, я. — Разве вы уже бывали в Венеции? Почему же вы мне об этом не говорили?

— Я заметила, что вы горите желанием увидеть этот прекрасный город, и знала, что одного моего слова достаточно, чтобы помешать вашему приезду сюда. Зачем мне было принуждать вас к тому, чтобы вы изменили свое решение?

— Да, я бы его изменил, — вскричал я, топнув ногой. — Да если бы мы уже въезжали в этот проклятый город, я заставил бы повернуть лодку и пристать к иному берегу, который не осквернен подобным

воспоминанием; я домчал бы вас туда, я доставил бы вас туда вплавь, приведись мне выбирать между подобной переправой и этим вот домом, где вы, быть может, на каждом шагу ощущаете жгучий след его присутствия! Скажите же, наконец, Жюльетта, где я с вами мог бы укрыться от прошлого? Назовите мне город, укажите хоть какой-нибудь уголок Италии, куда бы этот проходимец не таскал вас с собою!

Я побледнел и задрожал от гнева. Жюльетта медленно повернулась, холодно взглянула на меня и снова отвела глаза к окну.

— Венеция, — проронила она, — мы любили тебя когда-то, и даже теперь я не могу глядеть на тебя без волнения: ведь он тебя боготворил, он вспоминал о тебе всюду, куда бы ни приезжал; он называл тебя своей дорогой отчизной, ибо ты была колыбелью его знатного рода и один из твоих дворцов еще поныне носит то же имя, что носил он.

— Клянусь смертью и вечным блаженством, — процедил я, понизив голос, — завтра же мы расстанемся с этой дорогой отчизной!

— Вы можете завтра расстаться и с Венецией и с Жюльеттой, — ответила она мне с ледяным хладнокровием. — Что же до меня, я не желаю получать приказаний от кого бы то ни было и покину Венецию, когда мне заблагорассудится.

— Я, кажется, вас понимаю, сударыня, — возмущенно возразил я, — Леони в Венеции.

Жюльетта вздрогнула, точно ее поразил электрический ток.

— Что ты говоришь? Леони в Венеции? — вскричала она в каком-то бреду, бросаясь ко мне на грудь. — Повтори, что ты сказал, повтори его имя! Дай мне хотя бы еще раз услышать его! — Тут она залилась слезами и, задыхаясь от рыданий, почти потеряла сознание. Я отнес ее на диван и, не подумав помочь ей еще как-то иначе, стал снова расхаживать по краю ковра. Постепенно гнев мой утих, как утихает море, когда уляжется сирокко. Внезапное раздражение сменилось острой и мучительной болью, и я разрыдался, как женщина.

Все еще погруженный в свои терзания, я остановился в нескольких шагах от Жюльетты и взглянул на нее. Она лежала, отвернувшись к стене, но трюмо высотой в пятнадцать футов, занимавшее весь простенок, позволяло мне видеть ее лицо. Она была мертвенно-бледна; глаза ее были закрыты, точно она спала. Выражение ее лица говорило скорее об усталости, нежели о страдании, и полностью передавало то, что творилось у нее в душе: изнеможение и безучастность начинали брать верх над недавней бурной вспышкой чувств. Ко мне вернулась надежда.

Я тихо назвал ее по имени, и она взглянула на меня с каким-то изумлением, словно память ее утратила способность хранить в себе слова и поступки, а душе уже неоставало сил таить горечь обиды.

— Что тебе? — промолвила она. — Почему ты меня разбудил?

— Жюльетта, — прошептал я, — прости меня, я тебя оскорбил, я уязвил твое сердечное чувство...

— Нет, — ответила она, поднося одну руку ко лбу и протягивая мне другую, — ты уязвил лишь мою гордость. Прошу тебя, Алео, помни, что у меня нет ровно ничего, что я живу тем, что даешь мне ты, что мысль о моей зависимости для меня унижительна. Я знаю, ты был добр, ты был щедр ко мне; ты окружаешь меня заботами, осыпаешь драгоценностями, ты подавляешь меня всей роскошью и великолепием, которые тебе привычны; не будь тебя, я умерла бы в какой-нибудь больнице для бедных или меня бы заперли в сумасшедший дом. Мне это хорошо известно. Но вспомни, Бустаменте, что все это ты сделал помимо моей воли, что ты взял меня к себе полумертвой и оказал мне помощь и поддержку, когда у меня не было ни малейшего желания их принимать. Вспомни, как я хотела умереть, а ты просиживал ночи напролет у моего изголовья, держа меня за руки, чтобы помешать мне покончить с собою. Вспомни, что я долгое время отказывалась от твоего покровительства и твоих благодеяний и что если я принимаю их теперь, то делаю это отчасти по собственной слабости и потому, что мне опостылела жизнь, отчасти из чувства привязанности и признательности к тебе,

умоляющему меня на коленях не отвергать твоей поддержки. Ты ведешь себя самым достойным образом, друг мой, я это прекрасно понимаю. Но разве я виновата, что ты так добр? Неужели меня можно серьезно упрекать в том, что я унижаю себя, когда, одинокая, в полном отчаянии, я доверяюсь самому благородному сердцу на свете?

— Любимая, — прошептал я, прижимая ее к груди, — твои слова — великолепный ответ на подлые оскорбления негодяев, которые тебя не признали. Но к чему ты все это мне говоришь? Неужто ты считаешь необходимым оправдываться перед Бустаменте за счастье, которое он познал в своей жизни? Оправдываться нужно мне, если только это возможно, ибо из нас двоих неправ я. Мне ли не знать, как упорно восставала твоя гордость и твое отчаяние в ответ на мои предложения, мне никогда не подобало бы об этом забывать. Когда я пытаюсь заговорить с тобою властным тоном, я просто сумасшедший, которого надо прощать, ибо страсть к тебе помутила мой разум и лишила меня последних сил. Прости меня, Жюльетта, забудь о минутной вспышке гнева. Увы! Я не способен внушить к себе любовь; в моем характере есть какая-то резкость, которая тебе неприятна. Я оскорбляю тебя в тот момент, когда уже начал тебя излечивать, и нередко за какой-нибудь час я разрушаю то, что создавал в течение долгих дней.

— Нет, нет, забудем эту ссору, — прервала Жюльетта, целуя меня. — Если ты мне причиняешь подчас какую-то боль, то я ведь причиняю тебе в сто раз большую. Ты бываешь порою властен, я в своем горе всегда жестока. И все же не думай, что горе это неизлечимо. Твоя доброта и твоя любовь в конце концов восторжествуют над ним. Я была бы поистине неблагодарна, если бы отвергла ту надежду, которую ты мне сулишь. Поговорим о замужестве в другой раз. Быть может, тебе удастся меня убедить. Тем не менее я должна признаться, что боюсь такого рода зависимости, освященной всеми законами и всеми предрассудками: она почетна, но она ненарушима...

— Еще одно жестокое слово, Жюльетта! Неужто ты боишься стать навсегда моей?

— Нет, конечно нет! Я сделаю все, что ты захочешь. Но оставим это на сегодня.

— Так окажи мне тогда другую милость вместо этой: давай уедем завтра из Венеции.

— С радостью! Что мне Венеция, да, и все остальное? Не верь мне, слышишь, когда иной раз я сожалею о прошлом: во мне говорит лишь досада или безумие! Прошлое! Боже правый! Неужто ты не знаешь, сколько у меня причин, чтобы его ненавидеть? Пойми, это прошлое меня совершенно сломило! Да разве я в силах удержать его, даже если бы оно ко мне вернулось?

Я поцеловал Жюльетте руку в знак признательности за то усилие, которое она делала над собою, говоря это; но убедить она меня не смогла внятного ответа я так и не получил. Я опять стал уныло шагать по комнате.

Подул сирокко и мгновенно высушил мостовые. И город снова, как обычно, весь зазвенел, и до нас донесся многоголосый шум праздника: то слышалось хриплое пение подвыпивших гондольеров, то резкие крики масок, выходящих из кафе и пристающих к прохожим, то всплеск весел на канале. Пушка с фрегата послала прощальный салют дальним отголоскам лагуны, и те гулко отозвались, словно раскатами орудийного залпа. С пушечным громом слились грубая дробь австрийского барабана и мрачный звон колокола собора святого Марка.

Мною овладел приступ отчаянной тоски. Догоравшие свечи опаляли края зеленых бумажных розеток, бросая мертвенно-бледный свет на все предметы. Воображение мое населяло все вокруг какими-то причудливыми формами и звуками. Жюльетта, распростертая на диване и укутанная в шелк и горностаи, представлялась мне мертвой, запеленутой в саван. В пении и смехе, доносившихся с канала, мне чудились крики о помощи, и каждая гондола, скользившая под сводами мраморного моста, внизу, у моего окна, наводила меня на мысль об утопленнике, борющемся в волнах со смертью. Словом, я видел перед собой лишь безнадежность и роковой конец и не мог стряхнуть гнета, камнем лежавшего у меня на сердце.

Но мало-помалу я успокоился, и мысли мои стали менее сумбурными. Я пришел к выводу, что исцеление Жюльетты происходит слишком медленно и что, невзирая на все самозабвенные поступки, совершаемые ею ради меня из чувства признательности, сердце у нее болит так же, как в первые дни нашей встречи. Эти столь

долгие и столь горестные сожаления о любви, отданной недостойному существу, казались мне необъяснимыми, и я попытался отыскать причину их в бесплодности моего собственного чувства. Должно быть, подумал я, в характере моем есть нечто такое, что внушает ей неодолимое отвращение, в котором она не смеет признаться. Быть может, мой образ жизни ненавистен ей, а между тем я как будто стараюсь сообразовать свои привычки с ее склонностями. Леони постоянно возил ее из города в город; я, вот уже два года, стараюсь тоже, чтобы она путешествовала, нигде подолгу не задерживаясь и тотчас же покидая любое место, лишь только замечаю малейшие признаки скуки на ее лице. И тем не менее она грустит. Сомнения нет: ничто ее не развлекает; а если она порой и улыбнется, то лишь из преданности. Даже все, что так нравится женщинам, не может победить ее скорбь. Скалу эту не поколеблешь, алмаз этот никак не потускнеет. Бедная Жюльетта! Какая сила заложена в твоей слабости! Какое удручающее упорство в твоей апатии!

Незаметно для самого себя я стал выражать вслух все то, что меня терзало. Жюльетта приподнялась на локте; опершись о подушки и наклонившись вперед, она с грустью внимала моим словам.

— Послушай, Жюльетта, — сказал я, подходя к ней. — Я по-новому представил себе причину твоего горя. Я слишком подавлял твою скорбь, ты старалась запрятать ее поглубже в своем сердце; я трусливо боялся взглянуть на эту рану, вид которой причинял мне страдание, ты великодушно скрывала ее от меня. Лишенная ухода и позабытая, рана твоя воспалялась с каждым днем, тогда как мне надлежало постоянно лечить и смягчать ее. Я был неправ, Жюльетта, тебе надо открыть свое горе, выплакать его у меня на груди. Нужно, чтобы ты поведала мне о своих минувших злоключениях, рассказала мне свою жизнь день за днем, назвала мне моего врага. Да, так нужно. Только что ты мне сказала слова, которых я не забуду; ты умоляла меня позволить тебе хотя бы услышать его имя. Так произнесем же вместе это проклятое имя, что жжет тебе язык и сердце! Поговорим о Леони.

Глаза Жюльетты зажглись невольным блеском. Я почувствовал, как у меня защемило сердце, но тут же пересилил свою боль и спросил Жюльетту, одобряет ли она мой план.

— Да, — ответила она серьезно, — полагаю, что ты прав. Знаешь, рыдания часто подступают мне к горлу, но, боясь огорчить тебя, я не даю им воли и таю свою боль в груди как некое сокровище. Если б я могла раскрыть перед тобою душу, мне кажется, я бы не так страдала. Мое горе — нечто вроде аромата, который в закрытом сосуде сохраняется вечно; стоит лишь приоткрыть этот сосуд — и аромат быстро улетучится. Если бы я могла в любую минуту поговорить о Леони, рассказать тебе о малейших перипетиях нашей любви, перед моими глазами заново прошло бы все то хорошее и дурное, что он мне сделал. Твоя же сильная неприязнь кажется мне порою несправедливой, и в глубине души я готова простить такие обиды, которые — услышь я о них из чужих уст — меня возмутили бы.

— Так вот, — сказал я, — мне хочется узнать о них из твоих уст. Я ни разу еще не слышал подробности этой мрачной повести; я хочу, чтобы ты мне о них рассказала, чтобы ты мне поведала свою жизнь всю целиком. Узнав твои горести, я, быть может, научусь, как их лучше исцелить. Расскажи мне, Жюльетта, обо всем; расскажи мне, каким образом смог этот Леони заставить так полюбить себя; скажи, какими чарами, какою тайною он обладал; ибо я устал тщетно искать путь к твоему неприступному сердцу. Я слушаю тебя, говори.

— О да! Я этого тоже хочу, — ответила она. — Это в конце концов должно меня успокоить. Но дай мне говорить и не прерывай меня ни единым намеком на какое-либо огорчение или раздражение, ибо я расскажу тебе все, как это происходило. Я расскажу тебе и о хорошем, и о дурном, о том, как я страдала и как я любила.

— Ты мне расскажешь обо всем, и я выслушаю все, — ответил я ей. Я велел принести новые свечи и раздуть огонь в камине. Жюльетта начала так.

«Как вам известно, я дочь богатого брюссельского ювелира. Отец мой был весьма искусен в своем ремесле, но при всем том малообразован. Начав простым рабочим, он стал обладателем крупного состояния, которое умножалось день ото дня благодаря удачным коммерческим операциям. Несмотря на недостаточность своего воспитания, он постоянно бывал в самых богатых домах нашей провинции; а мою мать, красивую и остроумную женщину, охотно принимали в обществе весьма состоятельных негоциантов.

По натуре своей отец был человеком покладистым и апатичным. Это свойство характера постепенно усиливалось в нем по мере того, как росли достаток и комфорт. Моя мать, будучи значительно живее и моложе его, обладала неограниченной свободой и, пользуясь преимуществом своего положения, с упоением предавалась светским удовольствиям. Она была добра, искренна и отличалась многими другими приятными качествами. Но ей было свойственно легкомыслие, и поскольку красота ее, невзирая на годы, поразительно сохранилась, то это как бы удлиняло ей молодость и шло в ущерб моему воспитанию. Правда, она питала ко мне нежную любовь, но проявляла ее как-то неосмотрительно и безрассудно. Гордясь моим цветущим видом и кое-какими пустячными способностями, которые она постаралась во мне развить, она помышляла лишь о том, чтобы вывозить меня на прогулки и в свет; она испытывала некое сладостное, но весьма опасное тщеславие, надевая на меня что ни день все новые украшения и появляясь со мною на праздниках. Я вспоминаю об этом времени с болью и вместе с тем с какой-то радостью. С тех пор я не раз печально размышляла о том, как бесцельно прошли мои молодые годы, и все же поныне сожалею о тех счастливых и беспечных днях, которые бы лучше никогда не кончались или никогда не начинались. Мне кажется, я все еще вижу мою мать — ее округлую изящную фигуру, ее белые руки, черные глаза, ее улыбку, такую кокетливую и вместе с тем такую добрую; с первого же взгляда можно было сказать, что она никогда не знала ни забот, ни неприятностей и что она не способна принудить других к

чему бы то ни было, даже из добрых побуждений. О да, я ее помню! Я припоминаю, как мы с нею сидели, бывало, все утро, обдумывая и подготавливая наши бальные туалеты, а после полудня занимались уже совсем другим нарядом, столь прихотливым, что нам едва оставался какой-нибудь час на то, чтобы появиться на прогулке. Я отчетливо представляю себе мою мать, ее атласные платья, ее меха, длинные белые перья и окружавшее ее воздушное облачко из блонд и лент. Закончив собственный туалет, она на минуту забывала о себе и занималась мною. Мне бывало, правда, довольно скучно расшнуровывать черные атласные ботинки, чтобы разгладить еле заметную складку на чулке, или примерять поочередно двадцать пар перчаток, прежде чем остановиться на одной из них, розовый оттенок которой был бы достаточно свеж и отвечал бы вкусу матушки. Эти перчатки так плотно облевали руку, что, снимая, я рвала их, изрядно намучившись перед тем, чтобы их надеть; итак, все надо было начинать сызнова, и мы громоздили целые горы рваного хлама, прежде чем выбирали какую-нибудь пару, которую я носила всего лишь час, а затем отдавала горничной. Тем не менее меня настолько приучили с детства смотреть на эти мелочи как на самые важные занятия в жизни женщины, что я терпеливо подчинялась. Наконец мы выходили из дому, и, слыша шорох наших платьев, вдыхая аромат наших надушенных муфт, все оборачивались, чтобы поглядеть нам вслед. Я постепенно привыкла к тому, что наше имя на устах почти у всех мужчин и что их взгляды останавливаются на моем лице, хранившем тогда невозмутимое выражение. Такое вот сочетание безразличия и наивного бесстыдства и составляет то, что принято называть «хорошей манерой держаться», говоря о молодых девушках. Что же до матушки, то она испытывала двойную гордость, показывая и себя и дочь; я была как бы отсветом или, вернее, какой-то частью ее самой, ее красоты, ее богатства; мои бриллианты блестяще свидетельствовали о ее хорошем вкусе; мои черты, схожие с ее чертами, напоминали и ей и другим почти не тронутую годами свежесть ее ранней молодости; и, глядя на меня, такую худенькую, шедшую рядом с ней, моя мать словно видела себя дважды: бледной и хрупкой, какую она была в пятнадцать лет, яркой и красивой, какую она все еще оставалась. Ни за что на свете она не появилась бы на

прогулке без меня: она решила бы, что ей чего-то недостает, и сочла бы себя полуодетой.

После обеда возобновлялись серьезные дискуссии по поводу бального платья, шелковых чулок и цветов.

Отец, занятый своей коммерцией только днем, предпочел бы спокойно проводить вечера в кругу семьи. Но по добродушию своему он и не замечал, что мы о нем совершенно забывали, и засыпал в своем кресле, тогда как причесывавшие нас девушки изо всех сил старались постичь причудливые выдумки моей матушки. К моменту нашего выезда добрейшего человека будили, и он тут же покорно доставал из своих шкатулок чудесные драгоценные камни, оправы к которым делались на заказ по его собственным рисункам. Он сам надевал их нам на руки и на шею и любовался тем, как эти драгоценности на нас сверкают. Камни эти предназначались, вообще говоря, для продажи. Нередко мы слышали, как некоторые завистницы шептались, восторгаясь их блеском, и отпускали на наш счет злые шутки. Но мать мирилась с этим, говоря, что самые знатные дамы носят то, что им остается от нас, и это была сушая правда. На следующий день к отцу поступали заказы на драгоценности, подобные тем, что мы надевали накануне. Через некоторое время он отсылал клиентам именно наши; и нас это не огорчало: мы расставались с ними лишь для того, чтобы получить еще более красивые.

Я росла, ведя подобный образ жизни, не задумываясь ни о настоящем, ни о будущем и не делая никаких внутренних усилий, чтобы выработать себе характер и укрепить его. От природы я была мягкой, доверчивой, как и моя мать, я, как и она, безотчетно отдавалась на волю судьбы. И все же, по сравнению с нею, я была не такая веселая; меня меньше привлекали удовольствия и тщеславие; мне словно не доставало даже той небольшой доли энергии, которой обладала она, ее желания и умения развлекаться. Я как-то свыклась с той беспечной жизнью, что выпала мне на долю, не ценила ее и не сравнивала ни с чьей другой. О страстях я не имела ни малейшего представления. Меня воспитали так, будто мне вообще никогда не суждено их узнать; мать получила точно такое же воспитание и чувствовала себя превосходно, за неспособностью испытывать какие бы то ни было страсти, и поэтому ей ни разу не приходилось с ними

боротья. Мой ум приучили к таким занятиям, где сердцу делать было нечего. Я блестяще играла на фортепьяно и чудесно танцевала, я рисовала акварелью, отличаясь поразительной точностью рисунка и свежестью красок, но в душе моей не было ни малейшей искры того божественного огня, который только один и создает жизнь и позволяет понять ее смысл. Я обожала моих родителей ко не знала, что значит любить больше или меньше. Я могла превосходно сочинить письмо к какой-нибудь юной подружке, но не знала цены ни словам, ни чувствам. Подруг я любила по привычке, была добра с ними по долгу и по мягкости натуры, но характер их меня совершенно не интересовал: я вообще ни над чем не задумывалась. Я не делала никакого существенного различия между ними, и больше всего мне по душе бывала та, которая чаще всего ко мне приходила».

«Такой вот я и была. Мне шел семнадцатый год, когда в Брюссель приехал Леони. В первый раз я увидела его в театре. Я сидела с матерью в ложе, неподалеку от балкона, где он находился в обществе самых элегантных и состоятельных молодых люди. Моя мать первая указала мне на него. Она постоянно высматривала мне мужа, стараясь отыскать его среди таких мужчин, которые были особенно блестяще одеты и стройны; большего для нее и не требовалось. Знатность и состояние привлекали ее лишь как нечто такое, что дополняло более существенные данные — осанку и манеры. Человек выдающийся, но скромно одетый мог бы внушить ей одно презрение. Для ее будущего зятя требовалось, чтобы у него были особые манжеты, безукоризненный галстук, изящная фигура, красивое лицо, платье из Парижа и чтобы он умел поддерживать ту непринужденную, пустую болтовню, которая делает мужчину обаятельным в глазах общества.

Что до меня, я решительно не сравнивала одних мужчин с другими. Слепо доверяясь выбору моих родителей, я и не стремилась к замужеству и не противилась ему.

Мать нашла Леони очаровательным. Правда, лицо его поразительно красиво, и он, денди по костюму и манерам, обладает непостижимым умением держаться непринужденно, мило и весело. Я, однако, не испытывала никаких романтических чувств, которые заставляют пылкие натуры предугадывать их грядущую судьбу. Я взглянула на него мельком, повинувшись лишь желанию матери, и никогда не посмотрела бы на него вторично, если бы она не принудила меня к этому своими непрерывными восклицаниями по его адресу и тем любопытством, которое она проявляла, желая узнать его имя. Один из знакомых нам молодых людей, которого она подозвала и расспросила, ответил ей, что это знатный венецианец, приятель одного из видных коммерсантов нашего города, что, по слухам, он обладает несметным состоянием и что зовут его Леоне Леони.

Моя мать пришла в восхищение от этого ответа. Коммерсант, приятель Леони, устраивал как раз на следующий день праздник, на

который мы были приглашены. Матушке, беспечной и легковерной, оказалось вполне достаточно поверхностных сведений о том, что Леони богат и знатен, чтобы тотчас же заприметить его. Она заговорила о нем со мною в тот же вечер и посоветовала мне быть красивой назавтра. Я улыбнулась, заснула ровно в тот же час, что и в другие вечера, и мысль о Леони ни на одну секунду не заставила мое сердце биться сильнее. Меня приучили выслушивать подобные планы без всякого волнения. Мать утверждала, что я настолько рассудительна, что со мною уже не надобно обращаться как с ребенком. Бедная матушка и не замечала, что сама она куда больше ребенок, чем я.

Она одела меня так обдуманно и так изысканно, что я была признана царицей бала; но поначалу все оказалось впустую; Леони не появлялся, и мать подумала, что он уже уехал из Брюсселя. Не в силах побороть свое нетерпение, она спросила у хозяина дома, что случилось с его другом-венецианцем.

— А! — воскликнул господин Дельпек. — Вы уже заметили моего венецианца?

— Он бросил беглый взгляд на мой туалет и все понял. — Это красивый малый,

— добавил он, — весьма знатного происхождения и пользуется большим успехом в Париже и в Лондоне. Но должен вам признаться, что он отчаянный игрок, и коль скоро вы его не видите здесь, то это потому, что он предпочитает карты самым красивым женщинам.

— Игрок! — воскликнула моя мать. — Это очень гадко!

— О! — отозвался господин Дельпек. — Это как сказать. Когда у вас есть к тому возможность!

— Да и в самом деле! — сказала моя мать, ограничиваясь этим замечанием. Она уже никогда больше не интересовалась страстью Леони к игре.

Через несколько минут после этого короткого разговора Леони вошел в залу, где мы танцевали. Я увидела, как господин Дельпек, посматривая на меня, шепнул ему что-то на ухо. Леони обвел рассеянным взглядом танцующих; прислушиваясь к словам своего приятеля, он наконец отыскал меня в толпе и даже подошел, чтобы лучше рассмотреть. В эту минуту я поняла, что моя роль барышни на выданье несколько смешна, ибо в его любовании мною было нечто

ироническое; я, быть может, первый раз в жизни покраснела и почувствовала стыд.

Этот стыд превратился почти что в страдание, когда я заметила, что через несколько минут Леоне вернулся в игорную залу. Мне почудилось, что меня высмеяли и с презрением отвергли, и я рассердилась на мать. Прежде этого со мною никогда не случалось, и она подивилась моему скверному настроению.

— Полно, — сказала она мне, в свою очередь, несколько раздраженно. — Не знаю, что с тобою, но ты заметно подурнела. Едем домой!

Она уже поднялась с места, когда Леони, быстро пройдя через всю залу, пригласил ее на тур вальса. Этот непредвиденный случай вернул матушке все ее оживление; она, смеясь, бросила мне свой веер и исчезла в вихре танца.

Так как она страстно любила танцевать, то на бал нас постоянно сопровождала старая тетушка, старшая сестра отца, которая опекала меня, когда я не получала приглашения на танец одновременно с матерью. Мадемуазель Агата — так звали мою тетушку — была старая дева с ровным, невозмутимым характером. Она отличалась большим здравым смыслом, чем остальные мои домашние. Однако ей была присуща некоторая склонность к тщеславию — камню преткновения всех тех, кто проник в общество из низов. Хотя на балу она играла довольно жалкую роль, она ни разу не жаловалась на то, что ей приходится нас сопровождать: для нее это было поводом показать на старости лет нарядные платья, которые она не могла завести себе в молодости. Она, разумеется, высоко ценила деньги, но другие соблазны большого света привлекали ее значительно меньше. Она питала давнишнюю ненависть к представителям знати и не упускала случая посмеяться над ними и позлословить на их счет, делая это довольно остроумно.

Женщина тонкая и наблюдательная, привыкшая не столько действовать, сколько наблюдать за поступками других, она быстро разгадала причину внезапной перемены моего настроения. Оживленная болтовня моей матери раскрыла тетушке ее намерения относительно Леони, а физиономия венецианца, одновременно любезная, надменная и насмешливая, пояснила ей многое такое, чего ее невестка не понимала.

— Погляди, Жюльетта, — сказала она, наклонясь ко мне, — этот знатный синьор смеется над нами.

Больно задетая ее замечанием, я невольно вздрогнула. Слова тетушки совпадали с моими предчувствиями. Я впервые прочла на лице мужчины презрение к нашему мещанству. Меня приучили потешаться над тем пренебрежением, которое нам почти открыто выказывали женщины, и считать его проявлением зависти; но наша красота избавляла нас до сих пор от презрения мужчин, и я решила, что Леони самый большой нахал, которого когда-либо видел свет. Он внушил мне отвращение; поэтому, когда, проводив до кресла мою мать, он пригласил меня на следующую кадрили, я немедленно отказалась. Лицо его выразило такое сильное недоумение, что я тотчас же поняла, до какой степени он рассчитывал на мое доброе согласие. Моя гордость восторжествовала, и, усевшись подле матери, я сказала ей, что очень устала. Леони отошел от нас, отвесив глубокий, по итальянскому обычаю, поклон и бросив на меня пристальный взгляд, в котором сквозила свойственная ему насмешливость.

Матушка, удивленная моим поведением, стала опасаться, что во мне может пробудиться какая-то воля. Она заговорила со мною осторожно, надеясь, что я еще потанцую и что Леони снова пригласит меня; но я упорно не вставала с места. Примерно через час, сквозь смутный гул бальной суеты, мы расслышали имя Леони, названное несколько раз подряд; кто-то, проходя поблизости сказал, что Леони проиграл шестьсот луидоров.

— Отлично, — сухо заметила тетушка. — Теперь-то ему впору поискать красавицу невесту с хорошим приданым.

— О, ему это не требуется, — откликнулся кто-то другой, — он так богат!

— Взгляните, — добавил третий, — он танцует и, как видно, не слишком-то озабочен.

И правда, Леони танцевал с самым невозмутимым видом. Затем он подошел к нам, отпустил несколько банальных комплиментов моей матери с непринужденностью великосветского человека и попытался было вызвать меня на разговор, задав несколько вопросов, обращенных как бы косвенно ко мне. Но я упорно хранила молчание, и он

удалился, делая вид, что ему это совершенно безразлично. Мать, в полном отчаянии, увезла меня домой.

Первый раз в жизни она меня выбрала, а я на нее надулась. Тетюшка вступилась за меня, заявив, что Леони — нахал и шалопай. Мать, которая никогда не встречала такого противодействия, расплакалась, а вслед за нею и я.

Все эти небольшие неприятности, связанные с появлением Леони и с той трагической судьбою, которую ему суждено было мне принести, нарушили мой дотоле ничем не возмутимый душевный мир. Я не стану вам подробно рассказывать о том, что случилось в последующие дни. Да я отчетливо всего и не помню, и зарождение безудержной страсти к этому человеку до сих пор представляется мне каким-то диковинным сном, в котором рассудок мой никак не может разобраться. Несомненно, однако, что холодность моя задела Леони за живое, изумив и даже ошеломив его. Он сразу же стал относиться ко мне почтительно, что удовлетворило мою уязвленную гордость. Я видела его каждый день на балах и на прогулке, и моя неприязнь к нему быстро таяла перед необычайной заботливостью и скромной предупредительностью, которую он мне настойчиво выказывал. Тщетно моя тетюшка пыталась предостеречь меня от Леони, обвиняя его в высокомерии; я уже не чувствовала себя оскорбленной ни его поведением, ни его словами; даже черты его утратили выражение того затаенного сарказма, который больно задел меня в начале нашего знакомства. Во взгляде его день ото дня все явственнее светилась какая-то непостижимая мягкость и нежность. Казалось, он занят только мною; жертвуя своей страстью к картам, он танцевал теперь ночи напролет, приглашая то матушку, то меня, или непринужденно болтал с нами. Вскоре Леони пригласили к нам. Я несколько побаивалась его посещения; тетюшка предсказывала мне, что он найдет у нас в доме тысячу поводов для насмешек, делая вид, будто ничего такого и не заметил; на самом же деле этот визит даст ему возможность потешаться над нами в обществе своих приятелей. Итак, Леони пришел к нам, и, в довершение несчастья, отец, стоявший в это время на пороге своей лавки, именно через нее и ввел его в дом. Дом этот, который нам принадлежал, был очень хорош, и мать убрала его с изысканным вкусом. Но отец, которому по душе была лишь его коммерция, не пожелал перенести под другую крышу выставленные

им для продажи жемчуга и бриллианты. Эти сплошные ряды искрометных камней за ограждавшими их большими зеркальными стеклами являли поистине великолепное зрелище, и отец справедливо говорил, что более роскошного убранства для нижнего этажа и не сыщешь. Мать, у которой до той поры бывали иногда лишь вспышки честолюбия, побуждавшего ее искать сближения со знатью, никогда не смущало то, что ее фамилия, выгравированная крупными буквами из стразов, красуется под балконом ее спальни. Но, увидев с этого балкона, что Леони переступает порог злополучной лавки, она сочла нас погибшими и тревожно взглянула на меня».

«За те несколько дней, которые предшествовали визиту Леони, я почувствовала, что в душе моей пробуждается какая-то неведомая мне дотоле гордость. Я отчетливо ее испытала и, движимая неодолимым стремлением, захотела взглянуть, с каким видом Леони разговаривает за конторкой с моим отцом. Он медлил подниматься в гостиную, и я резонно предположила, что отец удержал его у себя, чтобы, со свойственным ему простодушием, показать чудесные образцы своей работы. Я смело спустилась в нижний этаж и вошла в лавку, притворившись несколько удивленной тем, что встретила там Леони. Входить в эту лавку мать мне всегда строго запрещала, опасаясь, как бы меня не приняли за приказчицу. Но я туда нет-нет да убегала, чтобы обнять моего милого отца, у которого не было большей отрады, чем принимать меня у себя внизу. Лишь только он меня завидел, у него вырвалось радостное восклицание, и он сказал, обращаясь к Леони:

— Послушайте, господин барон, все, что я вам показывал, — это пустяки. Вот мой самый прекрасный алмаз. — На лице Леони невольно отразилось восторженное изумление; он ласково улыбнулся моему отцу и страстно взглянул на меня. Никогда еще не доводилось мне видеть такого взгляда. Я вся зарделась. Когда же отец поцеловал меня в лоб, то от неясного чувства радости и нежности на глаза мои навернулись слезы.

С минуту мы все молчали. Затем Леони, вернувшись к прерванной беседе, сумел высказать моему отцу все, что только могло польстить самолюбию художника и коммерсанта. Ему, казалось, доставляло необычайное удовольствие, когда отец объяснял, какой тонкой обработкой можно получить из нешлифованного камня драгоценный бриллиант, придав ему игру и прозрачность. Он сам рассказал по этому поводу много интересного и, обратившись ко мне, добавил кое-какие подробности из области минералогии, доступные моему пониманию. Меня поразило, с каким умом и изяществом он возвеличивает и облагораживает наше общественное положение в наших собственных глазах. Он говорил о ювелирных изделиях,

которые ему доводилось видеть за годы странствий по свету, и особенно расхваливал мастерство своего соотечественника Челлини, которого он ставил наряду с Микеланджело. Наконец он приписал такие достоинства профессии отца и столь высоко оценил его талант, что я готова была задать себе вопрос, чья я, собственно, дочь: трудолюбивого ремесленника или гениального мастера?

Отец склонился ко второму предположению и, восхищенный обхождением венецианца, провел его в комнаты матери. В течение своего визита Леони проявил такой ум и говорил обо всем так тонко, что, слушая его, я была буквально зачарована. Раньше я и представить себе не могла, что существуют подобные мужчины. Те, на которых мне указывали как на самых приятных, были столь незначительны, столь ничтожны по сравнению с Леони, что мне почудилось, будто я вижу сон. Я была слишком необразованна, чтобы оценить знания и красноречие нашего гостя, но я понимала его как-то по наитию. Я чувствовала себя во власти его взгляда, меня увлекали его рассказы, и при каждом проявлении им каких-то новых познаний я испытывала изумление и восторг.

Леони, несомненно, наделен недюжинными способностями. За короткое время ему удалось взбудоражить весь город. Он, надо вам сказать, обладает всевозможными талантами, умеет обольстить решительно всех. Если он, после некоторых уговоров, участвовал в каком-нибудь концерте, то пел ли он или играл на любом инструменте, он выказывал явное превосходство над опытными музыкантами. Если он соглашался провести вечер в тесном дружеском кругу, он делал чудесные зарисовки в дамские альбомы. Он мгновенно набрасывал карандашом изящные портреты и остроумные карикатуры; он импровизировал и читал наизусть стихи на многих языках; он знал все характерные танцы Европы и танцевал их поразительно грациозно; он все видел, все помнил, имел обо всем свое суждение; он все понимал и все знал; вселенная, казалось, была для него раскрытой книгой. Он великолепно исполнял как трагические, так и комические роли, организовывал любительские труппы, бывал подчас и дирижером, и главным действующим лицом, и декоратором, и художником, и механиком. Он был душой любой компании, любого праздника. Поистине можно было сказать, что развлечения шли за ним по пятам и что все, к чему бы он ни

прикасался, тотчас же меняло свой облик и полностью преображалось. Его слушали с каким-то восторгом, ему слепо повиновались, в него верили как в пророка; и обещай он вернуть весну в разгар зимы, все бы сочли, что для него это возможно. Через какой-нибудь месяц пребывания его в Брюсселе характер жителей совершенно изменился. Увеселения объединяли все классы общества, устраняли любую щепетильность, продиктованную высокомерием, уравнивали все сословия. Что ни день, устраивались кавалькады, фейерверки, спектакли, концерты, маскарады. Леони был щедр и великодушен; рабочие пошли бы ради него на бунт. Он рассыпал благодеяния полными пригоршнями, на все у него находились и деньги и время. Его причуды тотчас же перенимались всеми. Все женщины в него влюблялись, а мужчины были настолько им покорены, что и не помышляли о ревности.

Могла ли я, видя это всеобщее увлечение, остаться равнодушной и не гордиться тем, что меня избрал человек, который всполошил население целой провинции? Леони был с нами крайне внимателен и почтителен. Мать и я стали пользоваться наибольшим успехом среди всех светских женщин города. Мы всегда сопутствовали Леони, играя первую роль во всех устраиваемых им увеселениях; он способствовал тому, что мы не останавливались перед самой безудержной роскошью; он делал рисунки наших туалетов и придумывал для нас характерные костюмы, во всем он знал толк и, в случае необходимости, мог бы сам смастерить нам и платья и тюрбаны. Вот этим-то он и снискал себе расположение нашего семейства. Труднее всего было покорить мою тетушку. Она долго упорствовала и огорчала нас своими грустными наблюдениями.

— Леони, — твердила она, — это человек недостойного поведения, заядлый игрок; он выигрывает и проигрывает за один вечер состояние двадцати семей; он промотает и наше за какую-нибудь ночь.

Леони решил смягчить несговорчивость тетушки и преуспел в своем намерении, воздействуя на самолюбие — рычаг, к которому он приложил все свои усилия, но так незаметно, будто почти и не касался его. Вскоре все препятствия были устранены. Ему пообещали мою руку и полмиллиона приданого; моя тетушка заметила все же, что надобно поточнее узнать о состоянии и происхождении этого

иностранца. Леони улыбнулся и обещал представить свои дворянские грамоты и бумаги об имущественном положении не позже, чем через двадцать дней. Он крайне легкомысленно отнесся к содержанию брачного контракта, составленного с большой щедростью и с полным доверием к нему. Казалось, он почти не знает о том, какое приданое я ему приношу. Господин Дельпек, а с его слов и все новые приятели Леони, утверждали, что состояние их друга вчетверо больше нашего и что женится он на мне по любви. Убедить меня в этом было довольно легко. Меня дотеле еще никто не обманывал. Обманщиков и жуликов я представляла себе не иначе, как в жалком рубище, в позорном обличье...»

Мучительное чувство сдавило Жюльетте грудь. Она запнулась и взглянула на меня помутившимися глазами.

— Бедная девочка, — воскликнул я, — и как только тебе господь не помог!

— Ах! — возразила она, слегка нахмурив иссиня-черные брови — У меня вырвались ужасные слова, да простит мне их бог! В сердце моем нет места ненависти, и я отнюдь не обвиняю Леони в злодействе. Нет, нет, я не желаю краснеть за то, что любила его. Это несчастный, которого следует пожалеть. Если б ты только знал... Но я тебе расскажу все.

— Продолжай, — сказал я. — Леони и без того достаточно виновен: ведь ты не собираешься обвинять его больше, чем он того заслуживает.

Жюльетта вернулась к своему рассказу.

«Суть в том, что он меня любил, любил ради меня самой; все дальнейшее это подтвердило. Не качай головой, Бустаменте: у Леони могучее тело и огромная душа; он вместилище всех добродетелей и всех пороков, в нем могут одновременно уживаться самые низменные и самые высокие страсти. Никто никогда не судил о нем беспристрастно, он справедливо это утверждал. Одна я знала его и могла воздать ему должное.

Язык, которым он говорил со мною, был совершенно непривычен для моего слуха и опьянял меня. Быть может, полное неведение, в котором я обреталась относительно всего, что касается чувств, делало для меня этот язык более сладостным и необычайным, чем то могло бы показаться какой-нибудь девушке поопытнее. Но я уверена (да и

другие женщины уверены точно так же), что ни один мужчина на свете не ощущал и не выказывал любовь так, как Леони. Превосходя всех остальных как в дурном, так и в хорошем, он говорил на совершенно ином языке, у него был иной взгляд, да и совсем иное сердце. Я как-то слышала от одной итальянской дамы, что букет в руках Леони благоухал сильнее, чем в руках другого кавалера, и так было во всем. Он придавал блеск самому простому и освежал самое обветшалое. Он имел огромное влияние на всех окружающих; я не могла, да и не хотела противиться этому влиянию. Я полюбила Леони всем сердцем.

Я почувствовала тогда, как вырастаю в собственных глазах. Было ли то делом божественного промысла, заслугой Леони или следствием любви, но в моем слабом теле пробудилась и расцвела большая и сильная душа. С каждым днем мне все больше и больше открывался целый мир каких-то новых понятий. Какое-нибудь одно слово Леони пробуждало во мне больше чувств, нежели вся легковесная болтовня, которой я наслушалась за свою жизнь. Замечая во мне этот духовный рост, он радовался и гордился. Он пожелал ускорить мое развитие и принес мне несколько книг. Моя мать взглянула на их позолоченные переплеты, на веленевые страницы, на гравюры. Она мельком прочла заглавия сочинений, которым суждено было вскружить мне голову и взволновать сердце. Все это были прекрасные, целомудренные книги — повести о женщинах, написанные, в большинстве своем, тоже женщинами: «Валери», «Эжен де Ротелен», «Мадемуазель де Клермон», «Дельфина». Эти трогательные, полные страсти рассказы, картины некоего идеального для меня мира возвысили мою душу, но и погубили ее. У меня появилось романическое воображение, самое пагубное для любой женщины».

«Трех месяцев оказалось достаточно для завершения этой перемены. Я вот-вот должна была обвенчаться с Леони. Из всех документов, которые он обещал представить, пришли только его метрическое свидетельство и дворянские грамоты. Что же до бумаг, подтверждающих его состояние, он запросил их через другого стряпчего, и они все еще не поступали. Это промедление, отдалявшее день нашей свадьбы, крайне печалило и раздражало Леони. Однажды утром он пришел к нам донельзя удрученный. Он показал нам письмо без почтового штемпеля, только что полученное им, по его словам, с особой оказией. В этом письме сообщалось, что его поверенный в делах умер, что преемник покойного, найдя бумаги в беспорядке, вынужден проделать огромную работу для признания их законности и что он просит еще одну-две недели, чтобы представить его милости затребованные сведения. Леони был взбешен этой помехой; он твердил, что умрет от нетерпения и горя еще до конца этого ужасного двухнедельного срока. Он упал в кресло и разрыдался.

Нет, то было непритворное горе, не улыбайтесь, дон Алео. Желая утешить Леони, я протянула ему руку. Она стала мокрой от его слез, и тут, в приливе сочувствия, я тоже расплакалась.

Бедная матушка не выдержала. Она в слезах побежала в лавку к отцу.

— Это отвратительное тиранство! — крикнула она, увлекая его за собой к нам наверх. — Взгляните на этих двух несчастных детей. Как можете вы противиться их счастью при виде их страданий? Неужто вы хотите погубить вашу дочь из преклонения перед пустой формальностью? Разве эти бумаги не придут и не будут вполне надежными через неделю после свадьбы? Чего вы опасаетесь? Неужто вы принимаете нашего доброго Леони за обманщика? Да разве вам неясно, что ваше упорное стремление получить бумаги, подтверждающие его богатство, оскорбительно для него и жестоко для Жюльетты?

Отец, оглушенный этими упреками и особенно потрясенный моими слезами, поклялся, что он никогда и не помышлял о такой

придирчивости и что он сделает все, что я захочу, Он поцеловал меня несчетное количество раз и заговорил со мною так, как говорят с шестилетними детьми, когда уступают их капризам, желая избавиться от крика. Пришла и тетушка, которая обратилась ко мне с менее нежными словами. Она даже позволила себе оскорбительные упреки по моему адресу.

— Молодой девушке, целомудренной и благовоспитанной, — заявила она, — не подобает так откровенно показывать, что ей не терпится принадлежать мужчине.

— Сразу видно, — воскликнула уязвленная матушка, — что вы никогда никому не принадлежали!

Отец никак не мог примириться с тем, что к его сестре относятся непочтительно. Он стал на ее сторону и заявил, что наше отчаяние — пустое ребячество и что неделя пролетит быстро. Я была смертельно оскорблена тем, что меня подозревают в нетерпеливом желании выйти замуж, и с трудом удерживалась от слез; но слезы Леони действовали на меня заразительно, и я уже остановиться не могла. Тут он встал — глаза его еще не высохли, щеки пылали; с мягкой улыбкой, в которой светились надежда и нежность, он устремился к моей тетушке; взяв ее руки в свою правую, а в левую — руки отца, он бросился на колени и стал умолять моих близких не противиться нашему счастью. Его манеры, звук голоса, выражение лица действовали неотразимо; к тому же тетушка впервые видела мужчину у своих ног. Всяческое сопротивление было сломлено. Напечатали оглашение о предстоящем браке, выполнив все предварительные формальности. Наша свадьба была назначена на следующей неделе, вне зависимости от того, придут бумаги или нет.

Последний день масленицы приходился на завтра. Господин Дельпек устраивал пышный праздник; Леони попросил нас одеться турчанками. Он набросал для нас очаровательный рисунок акварелью, который наши портнихи очень тщательно скопировали. Мы не пожалели ни бархата, ни расшитого золотом атласа, ни кашемира. Но бесспорное превосходство над всеми остальными бальными туалетами нам обеспечили бесчисленные и прекрасные драгоценные камни. В ход пошли все те, что находились в лавке у отца: на нас сверкали рубины, изумруды, опалы. Волосы наши были украшены бриллиантовыми нитями и эгретками, на груди красовались букеты,

составленные из разноцветных камней. Мой корсаж и даже мои туфли были затканы мелким жемчугом; шнур, увитый этими необычайными по красоте жемчужинами, служил мне поясом и ниспадал концами до колен. У нас были трубки и кинжалы, усыпанные сапфирами и бриллиантами. Весь мой костюм стоил по меньшей мере миллион.

Леони появился меж нас в великолепном турецком костюме. Он был так красив и так величествен в этом наряде, что люди вставали на диваны, чтобы лучше нас разглядеть. Сердце у меня билось отчаянно, я была горда до безумия. Меньше всего, как вы понимаете, меня занимал мой собственный наряд. Красота Леони, его ослепительность, его превосходство над всеми, почти всеобщее преклонение, которое ему выказывали, — и все это мое, и все это у моих ног! Было от чего потерять голову и не такой молоденькой девочке, как я! То был последний вечер моего торжества. Какими только невзгодами и унижительными мучениями я не заплатила за весь этот суетный блеск!

Тетушка была одета еврейкой и шла за нами, неся веера и ларцы с благовониями. Леони, желая завоевать ее дружбу, придумал ей костюм с таким вкусом, что он почти что опоэтизировал ее суровые и увядшие черты. У нее, бедной тети Агаты, тоже кружилась голова. Увы! Чего стоит женский разум!

Мы находились на маскараде уже два-три часа; мать танцевала, а тетушка болтала с престарелыми дамами, которые присутствуют на бале, как говорят во Франции, только «для мебели». Мы с Леони сидели рядом, и он говорил со мною вполголоса; каждое слово его дышало страстью и вызывало ответную искру в моей крови. Внезапно слова замерли у него на губах; он смертельно побледнел, словно перед ним явился призрак. Проследив за направлением его испуганного взгляда, я заметила в нескольких шагах от нас молодого человека, вид которого был неприятен и для меня: это был некто Генриет, делавший мне предложение годом раньше. Хотя он был богат и из почтенной семьи, матушка моя нашла, что он меня не стоит, и отказала ему, сославшись на мой юный возраст. Но уже в начале следующего года он вновь настойчиво попросил моей руки, и по городу стал ходить слух, что он безумно в меня влюблен; я не сочла нужным обращать на эти толки внимание, а мать, полагая, что

Генриет слишком прост, что он слишком напоминает буржуа, несколько резко отдалась от его назойливых визитов. Он, казалось, был этим скорее огорчен, чем раздосадован, и тотчас же уехал в Париж. С той поры тетушка и мои подружки иногда упрекали меня в равнодушии к нему. Он, мол, превосходный молодой человек, глубоко образованный, благородный по натуре. Упреки эти мне очень докучали. Неожиданное появление Генриета теперь, когда я была так счастлива близостью Леони, подействовало на меня крайне неприятно, словно лишний упрек; я отвернулась, сделав вид, что не заметила его; но странный взгляд, который он бросил на Леони, не ускользнул от меня. Леони быстро предложил мне руку, приглашая пройти в соседнюю залу и поесть мороженого; он добавил, что страдает от жары, что она ему действует на нервы. Я поверила ему и подумала, что взгляд Генриета выражает всего лишь ревность. Мы прошли в боковую галерею; там почти никого не было. Поначалу я опиралась на руку Леони; он был возбужден и чем-то озабочен. Я выразила некоторое беспокойство, но он мне ответил, что волноваться не стоит и что ему лишь слегка нездоровится.

Он начал было понемногу приходить в себя, как вдруг я заметила, что следом за нами идет Генриет; меня это невольно вывело из терпения.

— В самом деле, этот человек неотступно следует за нами, словно дурная совесть, — шепнула я Леони. — Да он и на человека-то непохож. Я готова принять его за душу грешника, явившуюся с того света.

— Какой человек? — откликнулся Леони, вздрогнув. — Как вы его назвали? Где он? Что ему от нас надо? Вы его знаете?

Я в двух словах объяснила ему суть дела и попросила не обращать внимания на нелепое поведение Генриета. Но Леони ничего не сказал мне в ответ; я только почувствовала, что его рука, держащая мою, похолодела, как у покойника; по телу его прошла судорога, и я подумала, что он вот-вот лишится чувств, но все это длилось лишь какое-то мгновение.

— У меня невероятно расстроены нервы, — сказал он. — Придется, кажется, лечь в постель: голова как в огне, тюрбан давит, точно стофунтовая гиря.

— Боже мой! — воскликнула я. — Если вы уедете, эта ночь покажется мне бесконечной и праздник станет неспособен. Попробуйте пройти в какую-нибудь дальнюю комнату и снять на несколько минут ваш тюрбан, мы попросим несколько капель эфира, чтобы успокоить вам нервы.

— Да, вы правы, добрая, дорогая моя Жюльетта, ангел мой. В конце галереи есть будуар, где, по-видимому, мы сможем побыть одни; минута отдыха — и мне снова станет лучше.

Сказав это, он поспешно увлек меня в будуар; казалось, он не идет, а спасается бегством. Внезапно я услышала чьи-то шаги у нас за спиной; я оглянулась и увидела Генриета, который подходил все ближе и ближе с таким видом, будто преследовал нас; мне почудилось, что он сошел с ума. Панический ужас, который Леони не мог уже скрыть, передался и мне: мысли мои окончательно спутались, мною овладел суеверный страх, кровь застыла в жилах, как это бывает во время кошмара; мне вдруг стало трудно сделать лишний шаг. В это время Генриет подошел к нам и положил руку на плечо Леони; рука эта показалась мне свинцовой. Леони застыл на месте, словно пораженный громом, и лишь утвердительно наклонил голову, словно угадав в этом устрашающем безмолвии некий вопрос или приказ. Генриет удалился, и лишь тогда я почувствовала, что мои ноги могут отделиться от паркета. У меня достало силы последовать за Леони в будуар, где я упала на оттоманку бледная и потрясенная не меньше его самого».

«Некоторое время Леони находился в полном оцепенении; внезапно, пересилив себя, он бросился к моим ногам.

— Жюльетта, — начал он, — я погиб, если ты меня не любишь до безумия!

— Боже мой! Что все это значит? — недоуменно воскликнула я, обвивая его шею руками.

— А ты меня так не любишь! — продолжал он тревожно. — Я погиб, не правда ли?

— Люблю тебя всей душою! — откликнулась я, заливаясь слезами. — Чем я могу тебя спасти?

— О, ты никогда на это не согласишься, — уныло промолвил он. — Я самый несчастный человек на свете. Ты единственная женщина, которую я когда-либо любил, Жюльетта. И вот теперь, когда ты должна стать моею, радость моя, жизнь моя, я теряю тебя навсегда! Мне остается только умереть.

— Боже правый! — воскликнула я. — Неужто ты не можешь говорить? Неужто ты не можешь сказать, чего ты ждешь от меня?

— Нет, я не могу этого сказать, — ответил он. — Страшная, ужасающая тайна тяготеет над моей жизнью, и я никогда не смогу открыть ее тебе. Чтобы полюбить меня, чтобы последовать за мной, чтобы меня утешить, надо быть не только женщиной, не только ангелом, быть может!..

— Чтобы полюбить тебя! Чтобы за тобою последовать! — повторила я. — Да разве через несколько дней я не стану твоей женой? Тебе достаточно будет сказать лишь одно слово; и как бы ни было больно мне и моим родителям, я последую за тобой хоть на край света, коли ты того пожелаешь.

— Неужто это правда, Жюльетта, дорогая? — воскликнул он в приливе радости. — Так ты за мной последуешь? Ты бросишь все для меня? Что ж, если ты так сильно любишь меня, я спасен! Едем же, едем немедленно!

— Да опомнитесь, Леони! Разве мы уже женаты? — возразила я.

— Мы не можем пожениться, — сказал он громко и отрывисто.

Я была сражена.

— И если ты не хочешь меня любить, если не хочешь со мной бежать, — продолжал он, — мне остается лишь одно: покончить с собой.

Эти слова он произнес столь решительно, что у меня по всему телу пробежала дрожь.

— Но что же нам грозит? — спросила я. — Не сон ли это? Что может помешать нашей свадьбе, когда все уже решено, когда мой отец дал тебе обещание?

— Всего лишь слово человека, влюбленного в тебя и желающего помешать тебе стать моею.

— Я ненавижу и презираю его! — воскликнула я. — Где он? Я хочу его пристыдить за столь подлое преследование и за столь гнусную месть... Но что он может сделать тебе дурного, Леони? Разве твоя репутация не настолько выше его нападок, что одно твое слово способно уничтожить его? Разве твоя добродетель и твоя сила не столь же неуязвимы и чисты, как золото? О, боже! Я догадываюсь: ты разорен! Бумаги, которые ты ждешь, принесут тебе лишь дурные вести. Генриет это знает, он грозит рассказать обо всем моим родителям. Его поведение бесчестно; но не бойся: родители добры и обожают меня. Я брошусь им в ноги, пригрожу, что уйду в монастырь; буду умолять их так же, как вчера, и ты одержишь над ними верх, не сомневайся в этом. Да разве я недостаточно богата для нас двоих? Отец не даст мне умереть с горя. И мать за меня вступится. У нас троих больше силы, чем у моей тетушки, и мы убедим его. Полно, Леони, не горюй! Этим нас не разлучить, это невозможно. Будь мои родители безмерно скарены, вот тогда я с тобой убежала бы.

— Бежим немедленно, — сказал Леони мрачно, — они будут непреклонны. Есть нечто еще, помимо моего разорения, нечто зловещее, чего я не могу тебе сказать. Достаточно ли ты добра и великодушна? Та ли ты женщина, о которой я мечтал и которую, как мне казалось, я нашел в тебе? Способна ли ты на героизм? Доступно ли тебе нечто высокое, под силу ли тебе безграничное самопожертвование? Ответь же мне, Жюльетта, кто ты: милая и очаровательная женщина, с которой мне будет тяжело расстаться, или ангел, ниспосланный богом, чтобы спасти меня от отчаяния? Знаешь ли ты, как прекрасно, как благородно принести себя в жертву тому,

кого любишь? Неужели твою душу не способна взволновать мысль, что у тебя в руках жизнь и судьба человека и что ты можешь посвятить ему себя целиком? Ах, почему мы не можем поменяться ролями! Ах, почему я не на твоём месте! С какой радостью я принес бы тебе в жертву любую привязанность, любое чувство долга!

— Полноте, Леони! — ответила я. — От ваших слов у меня мутится разум. Пощадите, пощадите мою бедную мать, моего бедного отца, мою честь! Вы хотите погубить меня!

— Ах, ты думаешь обо всем этом и не думаешь обо мне! Ты говоришь о том, сколь тяжко будет горе твоих родителей, и не желаешь взвесить, сколь тяжко горюю я! Ты не любишь меня...

Я закрыла лицо руками, я взывала к господу богу, слушая, как рыдает Леони. Мне казалось — еще немного, и я сойду с ума.

— Итак, ты этого хочешь, — сказала я ему, — и ты вправе этого требовать. Говори же, скажи мне все, что угодно: я вынуждена тебе повиноваться. Разве моя воля и моя душа не принадлежат тебе целиком?

— Нам нельзя терять ни минуты, — отвечал Леони, — через час нас не должно здесь быть, иначе твое бегство станет невозможным. За нами следит ястребиное око. Но стоит тебе захотеть, и мы его обманем. Скажи: ты этого хочешь, ты хочешь?

Он, как безумный, сжал меня в своих объятиях. Из груди его рвались горестные стоны. Я вымолвила «да», сама не зная, что говорю.

— Так вот, — сказал он, — возвращайся быстрее на бал, не выказывай никакого волнения. На все расспросы отвечай, что тебе слегка нездоровится. Но не давай увозить себя домой. Танцуй, если это потребуется; если с тобой заговорит Генриет, будь осторожна, не раздражай его. Помни, что еще в течение часа участь моя в его руках. Через час я вернусь в домино. На капюшоне у меня будет вот эта лента. Ты ее узнаешь, не правда ли? И ты пойдешь за мной и непременно будешь спокойной, невозмутимой. Так нужно, помни! Хватит ли у тебя на это силы?

Я встала совершенно измученная, сдавив обеими руками грудь. Горло у меня пересохло, щеки лихорадочно горели, я была как пьяная.

— Идем же, идем! — сказал он, подтолкнув меня к бальной зале, и исчез.

Мать уже разыскивала меня. Я еще издали заметила, что она волнуется, и, во избежание расспросов, поспешно согласилась, когда кто-то пригласил меня на танец.

Я пошла танцевать и не знаю, как не упала замертво к концу кадрили, столько мне это стоило усилий. Когда я вернулась на место, матушка уже вальсировала. Она увидела, что я танцую, и успокоилась. Она снова думала лишь о собственном веселье. Тетушка же, вместо того чтобы начать расспросы о том, где я пропадала, выбрала меня. Мне это было больше по душе: не нужно было отвечать и лгать. Какая-то подруга испуганно спросила, что со мною и почему я такая расстроенная. Я ответила, что у меня только что был жестокий приступ кашля.

— Тебе следует отдохнуть и больше не танцевать, — сказала она.

Но я твердо решила избегать взглядов матери: я опасалась ее беспокойства, ее нежности и собственных угрызений совести. Я заметила ее носовой платок, который она оставила на диванчике; я взяла его, поднесла к лицу и, прикрыв им рот, стала судорожно покрывать его поцелуями. Подруга подумала, что у меня все еще продолжается кашель; я сделала вид, будто и в самом деле кашляю. Я просто не знала, чем заполнить этот злополучный час,

— прошло лишь каких-нибудь тридцать минут. Тетушка заметила, что я сильно простужена, и сказала, что попытается уговорить мою мать ехать домой. Угроза эта меня напугала, и я быстро ответила на новое приглашение. Оказавшись среди танцующих, я поняла, что согласилась на вальс. Надо сказать, что, подобно всем молодым девицам, я никогда не вальсировала. Но, узнав в том, кто уже обнял меня за талию, зловещего Генриета, я со страху не смогла отказать. Он увлек меня в танце, и от этого быстрого движения у меня окончательно помутилось в голове. Я задавала себе вопрос, уж не чудится ли мне попросту все, что происходит вокруг; мне казалось, будто я лежу в постели, горя от жара, а вовсе не вальсирую как безумная с тем, кто мне внушает ужас и отвращение. И тут я вспомнила, что за мной придет Леони. Я взглянула на мать, которая весело и беспечно порхала в кругу танцующих. И я подумала, что все это невозможно, что я не могу так вот расстаться с матушкой. Я обратила внимание на то, что Генриет крепко держит меня за талию и что его глаза впиваются в мое лицо, склоненное к нему. Я едва не

вскрикнула и не убежала, но тут же вспомнила слова Леони: «Участь моя еще в течение часа в его руках», — и покорилась. Мы на минуту остановились. Он заговорил со мною. Я улыбалась, что-то отвечала ему, мысли у меня путались. И в эту минуту я почувствовала, как кто-то коснулся плащом моих обнаженных рук и открытых плеч. Не нужно было и оборачиваться: я ощутила едва уловимое дыхание Леони. Я попросила отвести себя на место. Спустя мгновение Леони, в черном домино, предложил мне руку. Я последовала за ним. Мы прошли сквозь толпу, ускользнув бог весть каким чудом от ревнивого взгляда Генриета и матушки, которая снова меня разыскивала. Дерзость, с которой я прошла через залу на глазах у пятисот свидетелей, чтобы убежать с Леони, помешала обратить на нас внимание. Мы протискались сквозь людскую сутолоку в прихожей. Кое-кто из гостей, надевавших уже плащи и накидки, подивился, увидев, что я спускаюсь по лестнице без матери, но люди эти тоже уезжали домой и не могли уже судачить на балу. Очутившись во дворе, Леони увлек меня за собой к небольшим боковым воротам, куда кареты не въезжали. Мы пробежали несколько шагов по темной улице; затем открылась дверца почтовой кареты, Леони посадил меня, укутал в свой широкий, подбитый мехом плащ, надел на голову дорожный капор, — и в одно мгновение ока ярко освещенный особняк господина Дельпека, улица и город оказались позади.

Мы ехали сутки, так и не выходя из кареты. На каждой станции, где меняли лошадей, Леони приподнимал окошко, просовывал сквозь него руку, бросал возницам вчетверо больше их обычного заработка, быстро убирал руку и задергивал штору. Я же и не думала жаловаться на усталость или на голод. Зубы мои были крепко сжаты, нервы напряжены; я не могла ни слезу пролить, ни слова вымолвить. Леони, казалось, гораздо больше тревожило то, что нас могут преследовать, чем то, что я горюю и мучаюсь. Мы остановились у какого-то замка неподалеку от дороги и позвонили у садовых ворот. Появился слуга, заставивший себя долго ждать. Было два часа ночи. Ворча себе что-то под нос, этот человек подошел наконец и поднес фонарь к лицу Леони. Но едва он его узнал, как тотчас рассыпался в извинениях и провел нас в дом. Дом этот показался мне пустынным и запущенным. Тем не менее передо мной распахнули двери в довольно приличную комнату. В одну минуту затопили камин, приготовили мне постель, и

вошла женщина, чтобы раздеть меня. Я впала в какое-то умственное оцепенение. Тепло камина мало-помалу вернуло мне силы, и я увидела, что сижу в пеньюаре, с распущенными волосами подле Леони; но он не обращал на меня внимания и занимался тем, что укладывал в сундук богатые одежды, жемчуга и бриллианты, которые еще только что были на нас. Эти драгоценности, украшавшие костюм Леони, принадлежали большей частью моему отцу. Матушка, желая, чтобы по богатству платье Леони не уступало нашим, взяла бриллианты из отцовской лавки и без единого слова дала надеть ему. Увидев всю эту роскошь, упрятанную как попало в сундук, я испытала мучительное чувство стыда за совершенную нами своего рода кражу и поблагодарила Леони за то, что он собирается выслать все это обратно моему отцу. Не помню, что он мне ответил; он только сказал потом, что спать мне осталось четыре часа и что он умоляет воспользоваться этим временем, ни о чем не тревожась и не тоскуя. Он поцеловал мои босые ноги и вышел. У меня так и не хватило мужества добраться до постели, я уснула в кресле, у камина. В шесть часов утра меня разбудили, мне принесли чашку шоколаду и мужское платье. Я позавтракала и покорно переоделась. Леони зашел за мною, и мы еще до рассвета покинули этот таинственный дом, причем я так никогда и не узнала ни его названия, ни точного расположения, ни владельца, как обстояло, впрочем, и во многих других пристанищах, то богатых, то убогих, которые во все время нашего путешествия отпирали перед нами двери в любой час и в любом краю при одном имени Леони.

По мере того как мы ехали все дальше, к Леони возвращались его невозмутимость поведения и нежность речи. Безропотная, прикованная к нему слепую страстью, я была тем послушным инструментом, в котором он, по желанию, заставлял звенеть любую струну. Если он задумывался, я грустила, если он был весел, я забывала все горести и душевные терзания и улыбалась его шуткам; если он был страстен, я забывала об утомлявших меня мыслях и проливаемых до изнеможения слезах и обрела новые силы, чтобы любить его и говорить ему об этом».

«Мы приехали в Женеву, где оставались ровно столько времени, чтобы отдохнуть. Вскоре мы забрались в глубь Швейцарии и там окончательно перестали беспокоиться, что нас могут выследить и настичь. С самого нашего отъезда Леони помышлял лишь о том, чтобы добраться со мною до мирной сельской обители, где можно было бы вести жизнь, полную любви и поэзии, в постоянном уединении с глазу на глаз. Эта сладостная мечта осуществилась. В одной из долин на Лаго Маджоре мы нашли живописнейшее шале среди восхитительного пейзажа. За весьма небольшие деньги мы его уютно обставили и сняли с начала апреля. Мы провели там шесть месяцев пьянительного счастья, за которые я вечно буду благодарить бога, хоть он и заставил меня заплатить за него дороною ценой. Мы были совершенно одни и вне всякого общения с миром. Нам прислуживали двое молодоженов, толстые и жизнерадостные, и, глядя на их доброе согласие, мы еще полнее ощущали наше собственное. Жена хлопотала по хозяйству и стряпала, муж пас корову и двух коз, составлявших все наше стадо. Он доил корову и делал сыр. Вставали мы рано поутру и, когда погода была хорошей, завтракали в нескольких шагах от дома в чудесном фруктовом саду, где деревья, отданные во власть природе, простирали во все стороны свои густые ветви, богатые не столько плодами, сколько цветами и листвой. Затем мы шли прогуляться по долине или взбирались на горы мало-помалу мы привыкли к дальним прогулкам и каждый день отправлялись на поиски какого-нибудь нового места. Горные края обладают тем чудесным свойством, что можно подолгу исследовать их, прежде чем узнаешь все их тайны и красоты. Когда мы совершали самые длительные экскурсии, Жоан, наш веселый мажордом, сопровождал нас, неся корзину с провизией, и ничто не было так восхитительно, как наши пиршества на траве. Леони был несговорчив лишь в выборе того, что он называл нашей столовой. Наконец, когда мы находили на склоне горы небольшую поляну, покрытую свежей травой, защищенную от ветра и солнца, с красивым видом на окрестности и ручейком, напоенным благоуханием пахучих растений, он сам

раскладывал все к обеду на белой скатерти, разостланной на земле. Он отправлял Жоана за земляникой, наказывая ему попутно погрузить бутылку с вином в прохладные воды ручья. Затем он зажигал спиртовку и варил яйца. Тем же способом, после холодного мяса и фруктов я готовила ему превосходный кофе. Таким образом, мы пользовались некоторыми благами цивилизации среди романтических красот пустынного пейзажа.

Когда стояла скверная погода, что частенько бывало в начале весны, мы разводили большой огонь в камине, чтобы предохранить от сырости наше жилище, сложенное из еловых бревен; мы загораживались ширмами, которые Леони мастерил, сколачивал и раскрашивал сам. Мы пили чай, и потом он курил длинную турецкую трубку, а я ему читала. Мы называли это нашими фламандскими буднями; менее оживленные, чем остальные, они были, пожалуй, еще более отрадными. Леони обладал замечательным талантом устраивать жизнь, делать ее приятной и легкой. С раннего утра он с присущей его уму энергией составлял план на весь день, расписывая его по часам, и, когда план был готов, приносил его мне и спрашивал, согласна ли я с ним. Я находила этот план всегда превосходным, и мы уже от него не отклонялись. Таким образом, скука, которая почти всегда преследует отшельников и даже уединившихся любовников, никогда к нам не подступала. Леони знал все, чего следует избегать, и все, чего следует придерживаться, чтобы сохранить спокойствие души и бодрость тела. Он давал мне нужные наставления с присущей ему трогательной нежностью: и, подвластная ему, как раба своему господину, я всегда безропотно выполняла все его желания. Он, в частности, говорил, что обмен мнениями между двумя любящими — самое отрадное на свете, но что он может стать невыносимым, если им злоупотреблять. Вот почему он точно отводил час и место нашим беседам. Весь день мы, бывало, занимались работой; я участвовала в хлопотах по хозяйству, готовила ему что-нибудь вкусное или гладила ему сама белье. Он был весьма чувствителен ко всем этим скромным поискам комфорта и ценил их вдвойне в тиши нашей обители. Со своей стороны, он заботился о всех наших нуждах и старался скрасить все неудобства нашей уединенной жизни. Он был немного знаком с любым ремеслом: он столярничал и делал мебель, он ставил замки, сооружал перегородки, деревянные и из цветной бумаги, прочищал дымоход в

камине, прививал плодовые деревья, подводил горный ручей и пускал его вокруг дома. Он постоянно занимался чем-нибудь полезным и делал всегда все хорошо. Когда больших работ не оказывалось, он писал акварелью и создавал чудесные пейзажи из тех набросков, что мы заносили в свои альбомы во время прогулок. Порою он бродил один по долине, сочиняя стихи, и по возвращении тотчас же мне их читал. Нередко он заставлял меня в хлеву; мой передник обычно был полон душистых трав, до которых так лакомы козы. Обе мои красавицы ели у меня с колен. Одна была белая, без единого пятнышка, и звалась Снежинкой; она отличалась кротостью и меланхоличностью нрава. Другая была желтая, как серна, с черной бородой и черными ногами. Она была совсем молоденькой, с дикой и строптивой мордочкой; мы окрестили ее Дайной. Корову звали Пеструшка. Она была рыжая, с черными поперечными полосами, точно тигр, и клала голову мне на плечо. И когда Леони заставлял эту картину, он называл меня своей «Мадонной в яслях». Он бросал мне свой альбом и диктовал свои стихи, сложенные почти всегда в мою честь. Эти гимны любви и счастья казались мне божественными, и, должно быть, они такими и были. Записывая их, я могла только молчать и плакать; когда же я кончала писать, Леони спрашивал: «Так ты их находишь скверными?» Я обращала к нему свое лицо в слезах; он смеялся и порывисто обнимал меня.

Затем он садился на душистое сено и читал мне иностранные стихи, которые тут же переводил необычайно быстро и точно. Я в это время в полумраке стойла пряла лен. Надо знать, как поразительно чисты швейцарские хлева, чтобы понять, почему из нашего мы сделали себе гостиную. Через весь хлев протекал горный ручей, который поминутно промывал его и радовал нас своим журчанием. Ручные голуби пили у наших ног, а под небольшой аркой, через которую поступала вода, купались и таскали зерна отважные воробьи. Это было самое прохладное место в жаркие дни, когда все окна были открыты, и самое теплое — в холодные дни, когда малейшие щели затыкались соломой и вереском. Частенько Леони, устав читать, засыпал на свежескошенной траве, и я, оторвавшись от работы, глядела на его прекрасное лицо, которому безмятежный сон придавал еще большее благородство.

В течение таких вот дней, обычно заполненных делом, мы мало говорили, хотя почти что не разлучались. Мы обменивались лишь несколькими теплыми словами, каким-нибудь мягким, дружеским жестом и подбадривали друг друга в работе. Но когда спускался вечер, у Леони наступала некоторая физическая вялость, зато пробуждалась вся его умственная энергия; то были часы, когда он становился наиболее привлекателен, и эти часы он приберегал для самых нежных взаимных излияний. Приятно устав за день, он ложился у моих ног на поросшую мхом лужайку, в каком-нибудь чудесном месте, неподалеку от дома, на склоне горы. Оттуда мы наблюдали за красочным заходом солнца, за печальным угасанием дня, за величественным, торжественным наступлением ночи. Мы точно знали, когда восходит та или иная звезда и над какой вершиною зажигается на небе, в свой черед, каждая из них. Леони превосходно знал астрономию, но Жоан по-своему владел этой пастушьей премудростью и давал звездам другие названия, подчас более поэтические и более выразительные, чем наши. Подтрунив над его сельским педантизмом, Леони отсылал Жоана под гору, чтобы тот сыграл там на свирели пастушескую мелодию: ее резкие трели звучали издали поразительно мягко. Леони впадал в своего рода экстатическое раздумье; затем, когда ночь наступала уже окончательно, когда тишина долины нарушалась лишь жалобным криком какой-то горной птицы, когда вокруг нас в траве зажигались светлячки, а среди елей, у нас над головами, веял теплый ветер, Леони, казалось, стряхивал с себя сон и пробуждался для новой жизни. Душа его словно загоралась; страстный поток его красноречия лился мне в самое сердце; он восторженно обращался к небесам, к ветру, к горному эху — ко всей природе; он заключал меня в объятия и дарил мне безумные ласки; потом плакал от счастья у меня на груди и, несколько успокоившись, шептал мне самые нежные, самые упоительные слова.

О, как мне было не любить его, человека, не знавшего себе равных и в хорошую и в дурную пору своей жизни! Каким обаятельным он был тогда, каким красивым! Как шел загар к его мужественному лицу, загар, щадивший его широкий белый лоб над черными как смоль бровями! Как он умел любить, и как он умел говорить о любви! Как он умел повелевать жизнью и делать ее прекрасной! Как могла я не верить ему слепо? Как мне было не

привыкнуть к безграничному повиновению? Что бы он ни делал, что бы он ни говорил, все было добрым, благостным и прекрасным. Он был великодушен, отзывчив, обходителен, отважен; ему было отрадно облегчать участь несчастных или больных бедняков, которые порою стучались у наших дверей. Однажды, рискуя жизнью, он бросился в бурный поток и спас молодого пастуха; он проплутал как-то целую ночь в снегу, подвергаясь самым страшным опасностям, чтобы спасти заблудившихся путников, взывавших о помощи. Так как же я могла сомневаться в Леони? Как могла я страшиться будущего? Не говорите мне, что я была доверчива и слаба: самую стойкую из женщин навсегда покорили бы эти шесть месяцев его любви. Что до меня, то я была покорена совершенно, и жестокие угрызения совести после моего бегства от родителей, терзания при мысли о их глубоком горе мало-помалу утихли и в конце концов почти совершенно исчезли. Вот насколько поработил меня этот человек!»

Жюльетта умолкла и впала в грустное раздумье. Где-то вдали часы пробили полночь. Я предложил ей отправиться на покой.

— Нет, — сказала она, — если только ты не устал слушать, я хочу продолжать. Я понимаю, что взвалила тяжелое бремя на свою бедную душу и что, когда я кончу, я ничего не буду чувствовать, ни о чем не буду вспоминать несколько дней подряд. Вот почему мне хочется воспользоваться тем приливом сил, который я ощущаю сегодня.

— Да, Жюльетта, ты права, — откликнулся я. — Вырви кинжал у себя из груди, и тебе станет легче. Но скажи мне, бедная девочка, неужто странное поведение Генриета на бале и трусливая покорность Леони при одном взгляде этого человека не заронили в тебе ни сомнения, ни боязни?

— Какую боязнь я могла питать? — возразила Жюльетта. — Я так мало знала о жизни и о людской подлости, что ничего не понимала в этой загадочности. Леони сказал мне, что у него есть ужасная тайна, я вообразила себе тысячу романтических невзгод. Тогда в литературе было модно выводить на сцену героев, над которыми тяготят самые необъяснимые, самые невероятные проклятия. И в театральных пьесах и в романах только и говорили, что о смелых сыновьях палачей, об отважных шпионах, о добродетельных убийцах и каторжниках. Я как-то прочла «Фредерика Стиндалля», затем мне попался под руку «Шпион» Купера. Поймите, я была

совсем ребенком, и пылавшее страстью сердце во мне опережало разум. Я вообразила себе, что несправедливое и тупое общество осудило Леони за какой-то благородный, но неосторожный поступок, за какую-то невольную ошибку или в силу какого-то дикого предрассудка. Признаюсь, что мое девичье воображение нашло особую прелесть в этой непостижимой тайне, и моя женская душа пришла в восторг, почувствовав, что может отдать себя всю целиком ради того, чтобы утешить человека, пострадавшего от судьбы столь возвышенно, столь поэтически.

— Леони, должно быть, заметил это романтическое настроение и решил им воспользоваться? — спросил я у Жюльетты.

— Да, именно так он и поступил, — ответила она. — Но если ему понадобилось так много усилий, чтобы обмануть мою доверчивость, то это лишь доказывает, что он любил меня, что он добивался моей любви во что бы то ни стало.

С минуту мы молчали; затем Жюльетта вернулась к своему рассказу.

«Настала зима. Мы уже заранее решили испытать ее суровость, но не расставаться с полюбившимся нам уединенным убежищем. Леони твердил мне, что никогда еще он не был так счастлив, что я единственная женщина, которую он когда-либо любил, что он хочет порвать со светом, чтобы жить и умереть в моих объятиях. Его склонность к удовольствиям, его страсть к игре — все это исчезло, было забыто навсегда. О, как я была признательна ему, человеку столь блестящих способностей, привыкшему к лести и поклонению, за то, что он, без сожаления отказавшись от пьянящей праздничной суеты, уединился со мною в незатейливой хижине! И будьте уверены, дон Алео, что Леони в ту пору меня не обманывал. При всем том, что весьма основательные причины побуждали его скрываться, несомненно одно: он был счастлив в нашем скромном убежище и любил меня. Мог ли он притворяться безмятежно спокойным все шесть месяцев настолько, что это спокойствие ни разу не нарушалось? И почему бы ему было не любить меня? Я была молода, красива, я все бросила ради него, я его обожала. Поймите, я не обманываюсь насчет его характера, я все знаю и все вам расскажу. Душа у него отвратительна и в то же время прекрасна, она и подла и величественна; и коли нет сил ненавидеть этого человека, в него влюбляешься и делаешься его добычей.

Начало зимы оказалось столь грозным, что оставаться в нашей долине и дальше становилось крайне опасно. За несколько дней снежные сугробы выросли до самого холма и легли вровень с нашим шале. Снег грозил завалить его и обречь нас на голодную смерть. Леони поначалу упорно желал остаться. Он намеревался запастись провизией и бросить врагу вызов. Но Жоан заверил, что мы неминуемо погибнем, если тотчас же не отступим; что вот уже десять лет, как подобной зимы не видели, и что когда начнется таяние снегов, наш домик будет снесен обвалами как перышко, если только святой Бернар или пресвятая дева лавин не сотворят чуда.

— Будь я один, — сказал мне Леони, — я бы предпочел дожидаться чуда и посмеяться над всеми лавинами; но у меня не

хватает на это смелости, когда тебе суждено разделить со мною опасности. Мы уедем завтра.

— Да, придется, — заметила я. — Но куда мы направимся? Меня сразу узнают, обнаружат и препроводят насильно к родителям.

— Существует множество способов ускользнуть от людей и законов, — отозвался Леони с улыбкой. — Найдется какой-нибудь и на нашу долю. Не беспокойся, весь мир к нашим услугам.

— А с чего мы начнем? — спросила я, тоже пытаюсь улыбнуться.

— Пока еще не знаю, — сказал он, — ну, да не в этом суть. Мы будем вместе; да разве где-нибудь мы можем быть несчастными?

— Увы! — откликнулась я. — Будем ли мы когда-либо так счастливы, как были здесь?

— Так ты хочешь остаться? — спросил Леони.

— Нет, — ответила я, — здесь мы больше не будем счастливы: перед лицом опасности мы бы постоянно тревожились друг за друга.

Мы сделали все нужные приготовления к отъезду; Жоан целый день расчищал тропинку, по которой мы должны были тронуться в путь. Ночью со мною произошел странный случай, о котором не раз с тех пор мне бывало страшно и подумать.

Во сне мне стало холодно, и я проснулась. Я не нашла Леони подле себя, он исчез; место его успело остыть, а дверь в комнату осталась полуоткрытой, и сквозь нее врывался ледяной ветер. Я выждала несколько минут, но Леони не возвращался. Я удивилась и, встав с постели, поспешно оделась. Я подождала еще, не решаясь выйти и опасаясь поддаться каким-нибудь детским страхам. Он так и не приходил. Мною овладел непобедимый ужас, и я вышла полуодетая на пятнадцатиградусный мороз. Я боялась, как бы Леони снова не отправился на помощь несчастным, заблудившимся в снегах, как то случилось несколько ночей назад, и решила поискать его и пойти за ним. Я окликнула Жоана и его жену, но они так крепко спали, что меня не услышали. Тогда, снедаемая тревогой, я устремилась к краю площадки, огражденной палисадом, тянувшимся вокруг нашего домика, и на некотором расстоянии различила на снегу серебристую полоску слабого света. Я как будто узнала фонарь, который Леони брал с собою, отправляясь на свои великодушные поиски. Я побежала в ту сторону со всей быстротой, какую допускал снег, в котором я вязла по колено. Я пыталась позвать Леони, но стучала зубами от

холода, а ветер, дувший мне в лицо, заглушал мой голос. Наконец я добралась до места, где горел свет, и я отчетливо увидела Леони. Он стоял неподвижно там, где я его заметила вначале, и держал в руках заступ. Я подошла ближе, на снегу моих шагов не было слышно. И вот я очутилась почти рядом с Леони, но так, что он этого не заметил. Свеча горела в жестяном цилиндрическом фонаре, и свет от нее падал сквозь узкую щель, обращенную не ко мне, а к Леони.

И тут я увидела, что он расчистил снег и вкапывается в землю заступом, стоя по колено в только что вырытой им яме.

Это странное занятие в столь поздний час и на таком морозе внушило мне какой-то непонятный, нелепый страх. Леони, казалось, необычайно торопился. Время от времени он беспокойно озирался. Согнувшись, я притаилась за выступом скалы, ибо меня напугало выражение его лица. Я подумала, что если бы он застал меня здесь, то убил бы тут же, на месте. Мне пришли на ум самые фантастические, самые невероятные рассказы, которые я когда-либо читала, все диковинные догадки, которые я строила по поводу его тайны; я решила, что он выкопал труп, и едва не лишилась чувств. Я несколько успокоилась, заметив, что Леони продолжает копать землю; вскоре он вытащил зарытый в яме сундук. Он внимательно оглядел его и проверил, не сломан ли замок; затем он поднял сундук на поверхность и стал забрасывать яму землей и снегом, не слишком заботясь о том, чтобы как-то скрыть следы своей работы.

Видя, что он вот-вот возьмет сундук и пойдет с ним в шале, я испугалась, как бы он не обнаружил, что я из безрассудного любопытства подглядываю за ним, и бросилась бежать со всех ног. Дома я поспешно швырнула в угол свою мокрую одежду и снова улеглась, решив притвориться к его возвращению крепко спящей; но мне с лихвой хватило времени оправиться от волнения, ибо Леони не появлялся еще в течение получаса.

Я терялась в догадках по поводу этого таинственного сундука, зарытого под горой, должно быть, с самого нашего приезда и предназначенного, как видно, сопровождать нас повсюду, подобно спасительному талисману или орудию смерти. Денег, казалось мне, там находиться не могло, ибо, хотя сундук был и громоздким, Леони поднимал его без всякого труда, одной рукою. Быть может, там лежали бумаги, от которых зависела вся его участь. Больше всего меня

поражало, что я где-то видела уже этот сундук, но я никак не могла припомнить, при каких обстоятельствах. На этот раз и форма его и цвет врезались мне в память, словно в силу какой-то роковой неизбежности. Всю ночь он стоял у меня перед глазами, и во сне мне пригрезилось, что из него появляется множество диковинных предметов: то карты с нарисованными на них странными фигурами, то окровавленные кинжалы; потом цветы, плюмажи, драгоценности; и наконец — скелеты, ядовитые змеи, цепи и позорные железные ошейники.

Я, разумеется, не стала расспрашивать Леони и не навела его на мысль о моем открытии. Он часто говаривал, что в тот день, когда я проникну в его тайну, между нами будет все кончено; и хотя он на коленях благодарил меня за то, что я ему слепо поверила, он нередко давал понять, что малейшее любопытство с моей стороны было бы для него невыносимо. На следующий день мы тронулись в путь на мулах, а в ближайшем городе сели в почтовый дилижанс, отправлявшийся в Венецию.

Там мы остановились в одном из тех таинственных домов, которые, казалось, были к услугам Леони в любой стране. На этот раз дом был мрачный, ветхий и словно затерянный в пустынном квартале города. Леони сказал мне, что здесь живет один из его друзей, который нынче в отъезде; он просил меня не слишком сетовать на то, что придется здесь пробыть день-другой; что, по важным причинам, ему нельзя сразу же показываться в городе, но что самое позднее через сутки он предоставит мне приличное жилище и у меня не будет поводов жаловаться на пребывание в его родном городе.

Не успели мы позавтракать в сырой и холодной комнате, как на пороге ее появился плохо одетый человек неприятной внешности, с болезненным цветом лица, который заявил, что пришел по вызову Леони.

— Да, да, дорогой Тадей, — откликнулся Леони, поспешно вставая ему навстречу, — добро пожаловать. Пройдемте в соседнюю комнату, чтобы не докучать хозяйке дома деловыми разговорами.

Час спустя Леони зашел проститься со мною; он, казалось, был взволнован, но доволен, словно только что одержал важную победу.

— Я расстаюсь с тобою на несколько часов, — сказал он. — Я хочу приготовить тебе новое пристанище. Завтра мы будем уже там

НОЧЕВАТЬ».

«Леони отсутствовал весь день. На следующее утро он вышел из дому спозаранку. Он, казалось, был целиком погружен в свои дела, но при этом находился в самом веселом настроении, в каком я когда-либо его видела. Это придало мне бодрости при мысли, что здесь придется проскучать еще часов двенадцать, и рассеяло мрачное впечатление, навеянное на меня этим молчаливым и холодным домом. После полудня, чтобы немного развлечься, я решила пройтись по его комнатам. Дом был очень стар; внимание мое привлекли остатки обветшалой мебели, рваные обои и несколько картин, наполовину изъеденных крысами. Но один предмет, представлявший в моих глазах особый интерес, навел меня на иные размышления. Войдя в ту комнату, где ночевал Леони, я увидела на полу злополучный сундук; он был открыт и совершенно пуст. С души моей свалилась огромная тяжесть. Неведомый дракон, запертый в этом сундуке, стало быть, улетел. Итак, страшная участь, которую он, казалось, олицетворял, не тяготела более над нами!

«Полно! — подумала я, улыбнувшись. — Ящик Пандоры опустел; надежда не оставляет меня».

Собираясь уже уходить, я случайно наступила на клочок ваты, забытый на полу, посреди комнаты, где валялись обрывки скомканной шелковой бумаги. Я почувствовала под ногой нечто жесткое и машинально подняла этот комок. Сквозь легкую обертку мои пальцы нащупали все тот же твердый предмет; сняв с него вату, я обнаружила, что это булавка в крупных бриллиантах, и узнала в ней одну из тех, которые принадлежали моему отцу; на последнем бале этой булавкой был заколот на плече мой шарф. Этот случай поразил меня настолько, что теперь я уже не думала ни о сундуке, ни о тайне Леони. Я ощутила лишь смутную тревогу по поводу драгоценностей, которые я захватила с собою в ночь моего бегства и о которых я давно уже не беспокоилась, полагая, что Леони тотчас же отправил их обратно. Опасение, что по небрежности он этого не сделал, было для меня невыносимо. И, когда Леони вернулся, я прежде всего задала ему

простодушный вопрос: «Друг мой, ты не забыл отослать обратно бриллианты моего отца после нашего отъезда из Брюсселя?».

Леони бросил на меня странный взгляд. Он как будто хотел проникнуть в самые потаенные глубины моей души.

— Почему же ты мне не отвечаешь? Что такого удивительного в моем вопросе?

— А с какой стати, собственно, ты мне его задаешь? — спросил он спокойно.

— Дело в том, — отвечала я, — что сегодня, от нечего делать, я зашла к тебе в спальню, и вот что я нашла там на полу. И тогда я испугалась, что, может быть, в суматохе наших переездов, в поспешности нашего бегства, ты позабыл отослать и другие драгоценности. А я тебя об этом толком-то и не спрашивала: у меня просто голова шла кругом.

С этими словами я протянула ему булавку. Говорила я так естественно и была столь далека от того, чтобы подозревать его, что Леони это почувствовал; взяв булавку, он заявил с величайшим хладнокровием:

— Черт возьми! Просто не понимаю, как это случилось. Где ты ее нашла? А ты уверена, что она принадлежит твоему отцу и что ее не обронили те, кто жил в этом доме до нас?

— О, — возразила я, — взгляни: возле пробы стоит едва заметное клеймо, это клеймо отца. В лупу ты увидишь его вензель.

— Отлично, — заметил он. — Должно быть, эта булавка застряла в одном из наших дорожных сундуков, и я ее уронил, вытряхивая какие-нибудь вещи нынче утром. По счастью, это единственная драгоценность, которую мы по оплошности захватили с собой; все остальные были переданы надежному человеку и направлены в адрес Дельпека, который, наверно, вручил их в целости твоей семье. Не думаю, что эта булавка стоит того, чтобы ее возвращать; это могло бы причинить твоей матушке лишнее огорчение из-за каких-то ничтожных денег.

— Она все же стоит по меньшей мере десять тысяч франков, — возразила я.

— Так сохрани эту булавку до той поры, когда тебе представится случай отослать ее домой. Ну, ты готова? Вещи уже уложены?

Гондола давно у подъезда, и твой дом с нетерпением ждет тебя. Ужин сейчас будет подан.

Через полчаса мы остановились у дверей великолепного палаццо. Лестницы были устланы малиновым сукном. Вдоль перил из белого мрамора стояли апельсиновые деревья в цвету — тогда как за окнами была зима — и изящные статуи, которые будто склонялись над нами в знак приветствия. Привратник и четверо слуг в ливреях пришли, чтобы помочь нам выйти из гондолы. Леони взял из рук одного из них факел и, приподняв его, дал мне прочесть на карнизе перистилия надпись, выгравированную серебряными буквами на бледно-голубом фоне: «Палаццо Леони».

— О мой друг! — воскликнула я. — Итак, ты нас не обманул? Ты богат и знатен, и я вхожу в твой дом!

Я прошла по этому палаццо, радуясь как ребенок. Это был один из самых прекрасных дворцов в Венеции. Мебель и обивка стен, отличавшиеся поразительной свежестью, были сделаны по старинным образцам; поэтому роспись потолков и древняя архитектура полностью гармонировали с новым убранством. Наша роскошь — роскошь буржуа и жителей севера — столь жалка, столь громоздка, столь груба, что я не имела ни малейшего представления о подобном изяществе. Я пробежала по огромным галереям, словно по волшебному замку; все предметы выглядели как-то непривычно, отличались какими-то незнакомыми очертаниями; я задавала себе вопрос, не снится ли мне все это, на самом ли деле я хозяйка и повелительница всех этих чудес. В этом феодальном великолепии для меня заключалось некое неведомое дотоле обаяние. Я никогда не понимала, в чем, собственно, радость или преимущество тех, кто принадлежит к знати. Во Франции уже позабыли о том, что это такое, в Бельгии этого никогда не знали. Здесь же те немногие, что уцелели от истинной знати, ценят роскошь и гордятся своим именем; старые дворцы никто не разрушает, им предоставляют рушиться самим. В этих стенах, украшенных воинскими доспехами и геральдическими щитами, под этими потолками с изображениями родовых гербов, перед портретами предков Леони, написанных Тицианом и Веронезе, то степенных и суровых, в подбитых мехом плащах, то изящных и стройных, в узких черных атласных камзолах, я впервые поняла сословную гордость, в которой может быть столько блеска и столько привлекательности,

если она не украшает собою глупца. Все это блистательное окружение так подходило к Леони, что мне и по сей день невозможно представить себе его выходцем из низов. Он воистину был потомком этих мужчин с черной бородой и белоснежными руками, чей тип увековечен Ван-Дейком. От них он унаследовал и орлиный профиль, и тонкие, изящные черты лица, и статность, и взгляд, насмешливый и благосклонный в одно и то же время. Если бы эти портреты могли ходить, они ходили бы как он, если б они заговорили, у них был бы звук его голоса.

— Как? — воскликнула я, крепко обнимая его. — Так это ты, мой повелитель, Леоне Леони, совсем еще недавно был в скромном шале, среди коз и кур, с мотыгой на плече, в простой блузе? Так это ты прожил шесть месяцев с простой девушкой, незнатной и глупенькой, единственная заслуга которой лишь в том, что она тебя любит? И ты меня оставишь подле себя и будешь всегда любить и говорить мне это каждое утро, как в том шале? О, все это слишком возвышенно и слишком прекрасно для меня! Я никогда не помышляла о таком почете, меня это опьяняет и страшит.

— Не бойся же, — сказал он мне с улыбкой, — будь всегда моей подругой и моей царицей. А теперь пойдем ужинать, я должен представить тебе двух гостей. Поправь прическу, будь красивой; и когда я буду называть тебя своей женой, не делай больших глаз.

Нас ждал изысканный ужин; стол сверкал позолоченным серебром, фарфором и хрусталем. Мне были церемонно представлены оба гостя; они были венецианцами, весьма приятной внешности, с изящными манерами, и хотя во многом уступали Леони, все же несколько походили на него манерой говорить и складом ума. Я шепотом спросила, не доводятся ли они ему родственниками.

— Да, — ответил он громко и засмеялся, — это мои кузены.

— Разумеется, — добавил тот, кого звали маркизом, — мы все здесь кузены.

Назавтра вместо двух гостей было уже четверо или пятеро, причем каждый раз за стол садились все новые приглашенные. Меньше чем за неделю наш дом буквально наводнили близкие друзья. Эти завсегдатаи похитили у меня немало отрадных часов, которые я могла бы провести с Леони, и наш досуг пришлось отдать всем им. Но Леони, после долгого уединения, казалось, был счастлив свидеться с

друзьями и поразвлечься. У меня не возникало ни одного желания, которое шло бы вразрез с его собственным, и поэтому я была рада, что ему весело. Несомненно, общество этих людей было очаровательным. Все они были молоды, изящны, жизнерадостны или остроумны, любезны или занимательны: они отличались превосходными манерами и в большинстве своем обладали недюжинными способностями. Утренние часы обычно бывали заполнены музыкой; после полудня мы катались по воде; после обеда шли в театр, а вернувшись домой, ужинали и играли. Я не очень-то любила присутствовать при этом последнем развлечении, когда огромные суммы денег переходили каждый вечер из рук в руки. Леони разрешил мне уходить после ужина к себе в комнаты, и я всякий раз этим пользовалась. Мало-помалу число моих знакомых возросло настолько, что они стали мне надоедать и утомлять меня, но я и виду не показывала. Леони как будто был по-прежнему в восторге от этого легкомысленного образа жизни. Щеголи со всего света, какие только приезжали в Венецию, встречались у нас, где они пили, играли и музицировали. Самые лучшие театральные певцы приходили к нам в дом, и под звуки различных инструментов голоса их сливались с голосом Леони, не менее красивым, не менее сильным, чем их собственные. Несмотря на всю прелесть такого общества, я все больше и больше испытывала потребность отдохнуть. Правда, время от времени нам выпадали на долю отрадные минуты, когда мы могли оставаться вдвоем; щеголи появлялись не каждый день, но завсегдатаи, человек двенадцать, постоянно бывали за нашим столом. Леони так их любил, что я невольно тоже почувствовала к ним дружбу. Они главенствовали над всеми прочими в силу природного превосходства. Люди эти были поистине замечательны, и каждый из них, казалось, в какой-то мере отражал самого Леони. Их связывали между собою какие-то своеобразные узы родства, общность мыслей и речи, поразившие меня с первого же вечера; им было свойственно нечто тонкое и изысканное, чем не обладали даже самые изящные из всех остальных. Их взгляд бывал более пронизательным, их ответ — более быстрым, их самоуверенность — более барской, их расточительность — более высокого полета. Каждый из них оказывал бесспорное нравственное воздействие на какую-то часть новичков; они служили им образцами и наставниками сперва в чем-то малом, а

затем и в большом. Леони был душою всего этого содружества, верховным главою, тем, кто задавал тон всей этой блестящей мужской компании, кто диктовал ей вкус, развлечения и размеры расходов.

Такого рода власть была ему по душе, и я ничуть тому не удивлялась; я была свидетельницей еще более бесспорного влияния на умы, которым он когда-то пользовался в Брюсселе, и делила с ним в ту пору гордость и славу; но счастье, испытанное мною в скромном шале, приобщило меня к более глубоким и более чистым радостям. Я сожалела о них и не могла не выразить этого вслух.

— И я, — говорил он мне, — я сожалею о той чудесной жизни, которая несравненно выше всех суетных светских удовольствий; но богу не угодно было изменить для нас черед времен года. Нет вечного счастья, как нет вечно весны. Таков закон природы, которому мы не можем не подчиниться. Будь уверена, что все устроено к лучшему в нашем скверном мире. Силы нашего сердца иссякают столь же быстро, сколь быстро проходят земные блага: подчинимся же, покоримся. Цветы поникают, увядают и воскресают с каждой весною; душа человеческая может обновляться, как цветок, лишь при условии, что она знает свои силы и раскрывается лишь настолько, чтобы не оказаться сломленной. Шесть месяцев ничем не омраченного счастья — это безмерно, моя дорогая: продлись оно еще, мы бы умерли или оно пошло бы нам во вред. Судьба повелевает нам ныне спуститься с заоблачных высот и вдохнуть в себя не столь чистый воздух городов. Признаем эту необходимость и будем думать, что она идет нам на пользу. Когда же вернется прекрасная пора, мы возвратимся в наши горы, нам еще больше захочется обрести все те блага, коих мы были лишены здесь; мы еще больше оценим спокойствие нашего уединения; и эта пора любви и блаженства, которую зимние лишения могли бы нам отравить, станет еще прекраснее, чем то было минувшим летом.

— Да, да! — отвечала я, целуя его, — мы вернемся в Швейцарию! О, как ты добр, что хочешь этого счастья и обещаешь мне его!.. Но скажи, Леони, неужто мы здесь не можем жить проще и бывать чаще вдвоем? Мы видим друг друга лишь сквозь облако пунша, мы говорим друг с другом, лишь когда вокруг поют и смеются. Почему у нас столько друзей? Неужто нам нужен кто-то, кроме нас двоих?

— Жюльетта, дорогая, — возражал он, — ангелы — это дети, а вы и ангел и ребенок. Вам неведомо, что любовь требует затраты самых высоких душевных качеств и что надо беречь эти качества как зеницу ока. Вы не знаете, милая девочка, что такое ваше собственное сердце. Добрая, чувствительная и доверчивая, вы полагаете, что оно — вечный очаг любви; но ведь само солнце не вечно. Ты не знаешь, что душа утомляется, как и тело, и что за ней тоже нужен уход. Так предоставь же мне, Жюльетта, свободу действий, дай мне поддержать священный огонь в твоём сердце. Мне важно сохранить твою любовь, помешать тебе растратить её слишком быстро. Все женщины похожи на тебя: они настолько спешат любить, что внезапно их любовь исчезает, а они так и не знают почему.

— Злой, — отвечала я ему, — разве то говорил ты мне по вечерам в горах? Разве ты просил меня не любить тебя слишком сильно? Неужто ты верил, что это может когда-либо мне наскучить?

— Нет, ангел мой, — отвечал Леони, целуя мне руки, — я и сейчас этому не верю. Но прислушайся к тому, что мне подсказывает опыт: внешние обстоятельства оказывают на наши глубочайшие чувства такое влияние, которому не могут противиться даже самые сильные души. В горной долине, где вокруг нас был чистый воздух, лились благоухания и звучали мелодии самой природы, мы могли и мы должны были предаваться целиком любви, поэзии, восторженности; но вспомни, что даже там я старался сберечь эту восторженность, которую так легко утратить, а однажды утратив, невозможно обрести вновь; вспомни о дождливых днях, когда я с особой строгостью предписывал то, чем тебе надлежит заниматься, чтобы избавить тебя от размышлений и неизбежно следующей за ними тоски. Поверь, что слишком частое стремление погрузиться в собственную и в чужую душу — намерение наиопаснейшее. Надо уметь стряхнуть с себя эту эгоистическую потребность, которая заставляет нас постоянно копаться в своём сердце и в сердце того, кто нас любит, подобно тому, как алчный земледелец требует от земли все большего плодородия и тем истощает её. Надо уметь становиться временами нечувствительным и легкомысленным: такие развлечения опасны лишь для слабых и вялых сердец. Пылкая же душа должна к ним стремиться, чтобы не зачахнуть, ибо она всегда достаточно богата. Одного слова или взгляда бывает довольно, чтобы, несмотря на

увлекающий ее легкий вихрь, она вновь затрепетала и ощутила с еще большей пылкостью и нежностью чувство страсти. Здесь, видишь ли, нам необходимы движение и разнообразие; эти большие палаццо красивы, но они печальны; морская плесень точит их фундаменты, и прозрачные воды, в которых отражаются их стены, нередко насыщены испарениями, оседающими на камне в виде слез. Роскошь эта сурова, и эти следы бывшего величия, что так тебе по душе, суть не что иное, как бесконечная вереница эпитафий и надгробий, которые надлежит украшать цветами. Надо населить живыми существами это гулкое жилище, где твои шаги напугали бы тебя, будь ты в нем одна; надо швырять из окон деньги этим простолюдинам, ложем для которых служат лишь холодные плиты парапетов на мостах, дабы зрелище их нищеты не тревожило нас среди нашего благополучия. Позволь же веселить тебя нашим смехом и убаюкивать тебя нашими песнями, будь добра и беспечна, я берусь устроить твою жизнь и сделать ее приятной в ту пору, когда я не в силах сделать ее чарующей. Будь моей женой и возлюбленной в Венеции, ты станешь вновь моим ангелом и моей сильфидой среди швейцарских плетчеров».

«Такими-то речами он успокаивал мою тревогу и увлекал меня, сладко усыпленную и доверчивую, к краю пропасти. Я была ему от души признательна за усилия, которые он прилагал к тому, чтобы меня убедить, тогда как одного его знака было бы достаточно, чтобы я повиновалась. Мы нежно целовали друг друга и возвращались в шумную гостиную, где наши друзья только и ждали, как бы нас разлучить.

Тем не менее, по мере того как шли подобной чередой наши дни, Леони стал все меньше и меньше стараться сделать их для меня приятными. Он все меньше обращал внимания на мое недовольство, а когда я его выказывала, пытался побороть его менее ласково. Однажды он был со мною даже резок и язвителен; я поняла, что досаждаю ему, и твердо решила впредь больше не сетовать на свою судьбу; но от этого я стала по-настоящему страдать и почувствовала себя несчастной. Я покорно выжидала целыми днями, чтобы Леони было угодно вернуться ко мне. В такие минуты, правда, он бывал так нежен и добр, что я почитала себя сумасшедшей и трусихой, припоминая все испытанные мною терзания. На некоторое время мужество и доверие воскресали во мне; но эти дни утешения становились все более редкими. Леони, видя мою кротость и покорность, относился ко мне весьма приязненно, но уже не замечал моей грусти; тоска снедала меня, Венеция делалась мне ненавистной: ее воды, ее небо, ее гондолы — все вызывало во мне досаду. В те ночи, когда шла игра, я подолгу бродила одна вдоль верхней террасы дома; проливая горькие слезы, я вспоминала свою родину, свою беспечную молодость, взбалмошную и добрую матушку, ласкового и снисходительного отца и ту же тетушку со всей ее хлопотливостью и склонностью к долгим нравоучениям. Мною словно овладевала тоска по родным краям, мне хотелось бежать, броситься к ногам родителей, навсегда забыть Леони. Но стоило внизу одному из окон открыться, стоило Леони, утомленному игрой и изнемогавшему от жары, выйти на балкон, чтобы подышать свежим воздухом, тянувшим с канала, как я уже перегибалась через перила, чтобы взглянуть на него, и сердце у меня

билось так же, как в первые дни моей любви, когда он переступал порог отчего дома; если лунный свет падал на него и позволял различить его стройную фигуру в причудливом наряде, который он всегда надевал, сидя дома в палаццо, я буквально трепетала от гордости и блаженства, как в тот вечер, когда он появился со мною на бале, откуда мы исчезли, чтобы уже никогда там более не появляться; если он своим чудесным голосом напевал какую-нибудь музыкальную фразу и звук его, отдаваясь на гулком венецианском мраморе, долетал до меня, я чувствовала, что по лицу моему текут слезы, как, бывало, по вечерам, в горах, когда он пел романс, сочиненный для меня поутру.

Несколько слов, случайно услышанных мною из уст одного из приятелей Леони усилили во мне тоску и отвращение до совершенно нестерпимых пределов. Среди его двенадцати друзей был виконт де Шальм, якобы французский эмигрант; его ухаживание я переносила как-то особенно мучительно. Он был старше, да и, быть может, умнее всех. Но сквозь его изысканные манеры проглядывал некий цинизм, и это меня нередко возмущало. Он был язвителен, ленив в движениях и сух; к тому же он был человеком безнравственным и бессердечным, но об этом я тогда не знала, и без того относясь к нему с достаточной неприязнью. Однажды вечером, стоя на балконе

— причем шелковая занавеска мешала ему видеть меня, — я услышала, как он спрашивает у венецианского маркиза:

— Да где же, в самом деле, Жюльетта?

Уже от одного того, как он меня назвал, кровь хлынула мне в лицо; я застыла на месте и прислушалась.

— Не знаю, — откликнулся венецианец. — А, да вы, верно, здорово в нее влюблены?

— Не слишком, — ответил Шальм, — но достаточно.

— Ну, а Леони?

— Леони уступит ее мне на днях.

— Как? Собственную жену?

— Да полноте, маркиз! Вы что, с ума сошли? — отозвался виконт. — Она такая же его жена, как и ваша. Это девица, которую он увез из Брюсселя; когда она ему наскучит, что не замедлит произойти, я охотно ею займусь. Если вы хотите заполучить ее после меня, маркиз, записывайтесь в очередь, по всей форме.

— Покорно благодарю, — отвечал маркиз, — я знаю, как вы развращаете женщин, и боюсь быть вашим преемником.

Больше я ничего не слышала; я склонилась без сил на балюстраду и, уткнувшись лицом в шаль, зарыдала от гнева и стыда.

В тот же вечер я пригласила Леони к себе в будуар и призвала его к ответу за то, что его друзья так дурно относятся ко мне. Он воспринял нанесенное мне оскорбление столь легкомысленно, что я ощутила смертельный укол в самое сердце.

— Ты дурочка, — заявил он. — Ты знаешь, что такое мужчины; их мысли нескромны, а слова и подавно. В лучшем случае это просто повесы. Женщине сильной духом следует попросту смеяться над их бахвальством, а не сердиться на него.

Я упала в кресло и расплакалась, горько восклицая:

— Матушка! Матушка! Что случилось с вашей дочерью!

Леони попытался успокоить меня, и ему это очень быстро удалось. Он стал передо мною на колени, принялся целовать мне руки и плечи, умоляя пренебречь глупыми словами и думать лишь о нем и его любви.

Увы, — отвечала я, — что мне прикажете думать, когда ваши друзья хвастают, что подберут меня, как подбирают ваши трубки, когда те перестают вам нравиться!

— Жюльетта, — говорил он, — оскорбленная гордость делает тебя язвительной и несправедливой. Я был распутником, ты знаешь, я нередко говорил тебе о разнузданных забавах, которым я предавался в годы молодости. Но мне кажется, я очистился от всего этого, вдыхая воздух нашей горной долины. Друзья мои все еще ведут беспутный образ жизни, который вел я. Они не знают и не смогли бы понять, чем были для нас те шесть месяцев, что мы провели в Швейцарии. Но ты, неужто ты способна их позабыть, отречься от них?

Я попросила у него прощения, и слезы мои, стекавшие ему на лицо и на его чудесные волосы, стали менее горькими; я постаралась забыть об испытанном мною тягостном впечатлении. К тому же я льстила себя надеждой: он, конечно, заявит своим друзьям, что я отнюдь не содержанка и что им надлежит меня уважать. Но он этого не пожелал или даже вовсе не подумал это сделать, ибо на другой же день я заметила, что господин Шальм бросает на меня все время назойливые взгляды с возмутительным бесстыдством.

Я дошла до отчаяния, но совершенно не знала, каким образом избавиться от бед, на которые сама себя обрекла. Я была слишком горда, чтобы чувствовать себя счастливой, и слишком любила, чтобы уйти.

Однажды вечером я зашла в гостиную, чтобы взять книгу, забытую мною на рояле. Леони сидел в кругу своих немногих избранных друзей; они объединились за чайным столиком в слабо освещенном конце комнаты и не заметили моего присутствия. Виконт, казалось, находился в одном из своих наиболее злобных, саркастических настроений.

— Барон Леоне де Леони, — сказал он сухо и насмешливо, — известно ли тебе, мой друг, что ты жестоко зарываешься?

— Что ты этим хочешь сказать? — отозвался Леони. — В Венеции я еще не наделал долгов.

— Но они у тебя скоро появятся.

— Надеюсь, что так, — отвечал Леони с величайшим спокойствием.

— Клянусь создателем! — воскликнул его собеседник. — Никто не умеет так разоряться, как ты: полмиллиона за три месяца — это, знаешь ли, недурной образ жизни!

Эта внезапная реплика приковала меня к месту окаменев и затаив дыхание, я стала ждать продолжения этой странной беседы.

— Полмиллиона? — равнодушно переспросил венецианский маркиз.

— Ну да, — откликнулся Шальм, — еврей-ростовщик Тадей отсчитал ему пятьсот тысяч франков в начале зимы.

— Отлично, — заметил маркиз. — Леони, а ты уплатил за наем твоего наследственного палаццо?

— Черт побери! Притом вперед, — сказал Шальм. — Да разве иначе его бы сдали ему!

— Ну, а что ты намерен делать, когда у тебя не будет ни гроша? — спросил у Леони кто-то другой из его близких друзей.

— Долги, — отвечал Леони с невозмутимым хладнокровием.

— Это проще, чем найти евреев, которые не тревожат нас в течение трех месяцев, — сказал виконт.

— А что ты будешь делать, когда кредиторы возьмут тебя за шиворот?

— Сяду на кораблик, — ответил Леони с улыбкой.

— Прекрасно. И отправишься в Триест?

— Нет, уж это слишком близко. В Палермо — там я еще ни разу не был.

— Но когда приезжаешь в какое-нибудь новое место, — заметил маркиз, — надо с первых же дней привлечь к себе внимание.

— Провидение позаботится об этом, — отозвался Леони, — оно любит отважных.

— Но не ленивых, — бросил Шальм. — А я не знаю никого на свете, кто был бы ленивее тебя. Какого черта ты торчал шесть месяцев в Швейцарии с твоей инфантой?

— Ни слова об этом! — отпарировал Леони. — Я любил ее и выплесну мой бокал в лицо любому, кто найдет в этом повод для забавы.

— Леони, ты слишком много пьешь! — крикнул еще кто-то из гостей.

— Возможно, — ответил Леони, — но что сказано, то сказано.

Виконт не ответил на этот своеобразный вызов, и маркиз поспешил перевести разговор в иное русло.

— Но почему, черт возьми, ты не играешь? — спросил он Леони.

— Да убей меня бог! Я играю каждый день ради того, чтобы вам угодить, я, ненавидящий игру. Я скоро спячу от вашей страсти к картам и костям, от ваших карманов, бездонных, как бочка данайд, и от ваших ненасытных рук. Вы же все сплошь дураки. Стоит вам выиграть, и, вместо того, чтобы отдохнуть и насладиться жизнью в свое удовольствие, вы беснуетесь, пока счастье вам не изменит.

— Счастье, счастье! — воскликнул маркиз. — Всем известно, что это такое!

— Покорно благодарю! — сказал Леони. — Я этого больше и знать не желаю: уж слишком бесцеремонно обошлись со мною в Париже. Как я подумаю, что жив еще человек, которого, дай-то бог, скорей бы черти унесли!..

— И что же? — спросил виконт.

— Человек, — подхватил маркиз, — от которого мы должны избавиться во что бы то ни стало, если хотим вновь обрести свободу на земле. Но потерпим: нас двое против него!

— Будь покоен, — заявил Леони, — я еще не настолько позабыл древние обычаи нашей страны, что не сумею очистить наш путь от того, кто мне мешает. Не будь этой чертовой любви, что засела мне в башку, я бы легко управился с ним в Бельгии.

— Ты? — удивился маркиз. — Но ведь тебе еще ни разу не доводилось выступать в такого рода деле, да и мужества у тебя на это не хватит.

— Мужества? — вскричал Леони, привстав с места и сверкнув глазами.

— Не горячись, — откликнулся маркиз с тем презрительным хладнокровием, которым они все отличались. — Пойми меня как должно: у тебя достанет мужества убить медведя или кабана, но, чтобы убить человека, ты слишком напичкан сентиментальными и философскими идеями.

— Может быть, — ответил Леони, снова усаживаясь в кресло. — И все же, я не уверен.

— Так ты не хочешь заняться игрой в Палермо? — спросил виконт.

— К черту игру! Если бы я мог еще увлечься чем-нибудь — охотой, лошадьми, смуглой калабрийкой, — я бы забрался на будущее лето в Аbruццы и провел бы еще несколько месяцев, забыв обо всех вас.

— Так увлекись снова Жюльеттой! — посоветовал виконт с усмешкой.

— Жюльеттой я снова не увлекусь, — раздраженно возразил Леони, — но я дам тебе пощечину, если ты еще хоть раз произнесешь ее имя.

— Ему надо чаю, — сказал виконт, — он мертвецки пьян.

— Полно, Леони, — воскликнул маркиз, сжимая ему локоть, — ты возмутительно груб с нами нынче вечером. Что с тобою? Разве мы тебе больше не друзья? Ты сомневаешься в нас? Говори!

— Нет, я в вас не сомневаюсь, — отвечал Леони, — вы мне вернули ровно столько, сколько я у вас взял. Я знаю, чего вы все стоите. Добро и зло — обо всем этом я сужу без предрассудков и без предубеждения.

— Хотелось бы на это посмотреть, — пробормотал виконт сквозь зубы.

— Эй, пуншу, пуншу! — закричали остальные. — Не бывать у нас нынче веселью, если мы окончательно не споим Шальма и Леони. У них что-то разгулялись нервы. Пусть же они придут в блаженное состояние!

— Да, друзья мои, добрые мои друзья, — воскликнул Леони, — пунш, дружба, жизнь, прекрасная жизнь! Долой карты! Это они нагоняют на меня тоску! Да здравствует опьянение! Да здравствуют женщины! Да здравствует лень, табак, музыка, деньги! Да здравствуют молодые девушки и старые графини! Слава дьяволу, слава любви! Слава всему, что дает жизнь. Все хорошо, когда ты достаточно здоров, чтобы пользоваться и наслаждаться всем.

Тут они все встали, затянув хором какую-то вакхическую песню. Я убежала, поднялась по лестнице в состоянии полубезумия, как человек, которому чудится, что его преследуют, и упала без чувств на пол у себя в комнате».

«На следующее утро меня нашли распростертой на ковре, оцепеневшей и холодной, как труп: я заболела горячкой. Леони как будто ухаживал за мной. Мне кажется, я его видела у своего изголовья, но обо всем этом я помню лишь смутно. Через три дня опасность миновала. Леони время от времени приходил справляться о моем здоровье и проводил со мною часть дня. Он уходил из палатки ежедневно в шесть часов вечера и возвращался только на следующее утро. Об этом я узнала позже.

Из всего слышанного мною я отчетливо поняла лишь одно, от чего я пришла в отчаяние: Леони разлюбил меня. До той поры я не хотела этому верить, хотя все его поведение заставляло меня так думать. Я решила не способствовать долее его разорению и не злоупотреблять тем остатком сочувствия и благородства, которые вынуждали его все еще считаться со мной. Я попросила его зайти ко мне, как только почувствовала себя в силах выдержать подобное свидание, и рассказала ему обо всем, что я слышала на свой счет из его уст во время кутежа; об остальном я умолчала. Мне были не вполне ясны те мерзости, которые, казалось, я угадывала из слов его друзей; да мне и не хотелось в это вникать. Впрочем, я была готова ко всему к участи покинутой, к полному отчаянию и даже к смерти.

Я заявила ему, что собираюсь уехать через неделю, что отныне не желаю принимать от него никакой помощи. У меня сохранилась булавка отца; продав ее, я получу более чем достаточную сумму денег, чтобы вернуться в Брюссель.

Мужество, с которым я говорила и которому способствовало мое лихорадочное состояние, поразило Леони своей неожиданностью. Он все время молчал и, охваченный волнением, шагал взад и вперед по комнате. Внезапно из груди его вырвались рыдания и стоны; задыхаясь, он упал на стул. Увидев его в таком состоянии, я испугалась и, помимо моей воли поднявшись с шезлонга, участливо склонилась над ним. Тут он порывисто обнял меня и, иступленно прижав к своей груди, вскричал:

— Нет, нет! Ты меня не бросишь, я никогда на это не соглашусь! Если твоя гордость, вполне естественная и справедливая, останется непреклонной, я лягу у твоих ног на пороге этой двери и покончу с собой, если ты перешагнешь через меня. Нет, ты не уйдешь: ведь я тебя страстно люблю, ты единственная женщина на свете, которую я смог еще уважать и которой способен был восхищаться после шестимесячного обладания. То, что я говорил, было глупо, гнусно и лживо. Ты не знаешь, Жюльетта, о, ты еще не знаешь всех моих несчастий! Ты не знаешь, на что меня обрекает эта компания погибших людей куда меня влечет душа, созданная из бронзы, огня, золота и грязи, дарованная мне и небом и адом! Если ты разлюбила меня, я не хочу больше жить. Чего только я не сделал, чем только не пожертвовал, что только не осквернял, чтобы привязаться к той гнусной жизни, которую они мне создали! Какой глумящийся демон овладел моим рассудком настолько, что я все еще нахожу в ней какую-то прелесть и рву, стремясь насладиться ею, самые священные узы? О, настало время с этим покончить! С того дня, как я живу на свете, у меня была лишь одна поистине прекрасная, поистине чистая пора — когда я обладал тобою и обожал тебя. Она очистила меня от всех моих бесчестных поступков, и мне надлежало оставаться в шале и быть погребенным под снегом; я умер бы, примирившись с тобой, с богом и с самим собою, тогда как сейчас я погиб и в твоих и в моих собственных глазах. Жюльетта, Жюльетта! Пощади меня, прости! Я чувствую, что сердце мое разорвется, если ты уедешь. Я еще молод, я хочу жить, я хочу быть счастливым, а счастлив я буду только с тобою. Неужто ты способна казнить за богохульство, что вырвалось у пьяного? Неужто ты этому веришь, можешь поверить? О, как я страдаю, как я страдал эти две недели! У меня есть тайны, от которых горит все мое нутро; если бы я мог тебе их поведать. Но ты никогда не смогла бы выслушать их до конца.

— Я знаю их, — отвечала я. — Если бы ты меня любил, все остальное было бы мне безразлично.

— Ты их знаешь! — вскричал он с помутившимся взглядом. — Ты их знаешь! Что тебе известно?

— Мне известно, что вы разорены, что палаццо это вовсе не ваше, что вы промотали за три месяца огромную сумму денег. Я знаю, что вы привыкли к этому ненадежному образу жизни и к этому

беспутству. Я не знаю, каким образом вы так быстро все спускаете и каким образом восстанавливаете потом ваши ресурсы; думаю, что игра — это и ваше разорение и ваши доходы. Полагаю, что вы находитесь в пагубном окружении, что вы пытаетесь восставать против дурных советов; полагаю, что вы стоите на краю пропасти, но что вы можете еще спастись.

— Да, да! Все это правда, — воскликнул он, — ты знаешь все! И ты готова мне это простить?

— Если б я не потеряла вашу любовь, — ответила я ему, — то полагала бы, что ничего не теряю, расставаясь с этим дворцом, этой роскошью и этим обществом, которые мне ненавистны. Какими бедными мы бы ни были, мы всегда могли бы жить, как мы жили в нашем шале, там или в ином месте, если нам наскучила Швейцария. Если бы вы меня по-прежнему любили, вы не были бы погибшим человеком, потому что вы бы не думали ни об игре, ни о распутстве, ни об одной из тех страстей, которые вы прославили в вашем дьявольском тосте. Если бы вы меня любили, мы уплатили бы из того, что у вас еще остается, ваши долги и отправились бы в какое-нибудь уединенное место, где мы скрылись бы от чужих глаз и любили бы друг друга, где бы я быстро позабыла обо всем, что недавно узнала, где бы я никогда вам об этом не напоминала, где бы это меня не мучило... Если б вы меня любили!..

— О, я люблю тебя, люблю! — вскричал он. — Едем же! Бежим! Спаси меня! Будь моей благодетельницей, моим ангелом-хранителем, каким ты всегда была. Прости, прости меня!

Он бросился к моим ногам, и все, что только может внушить самая пламенная страсть, он сказал мне с таким пылом, что я этому поверила... и буду верить всегда. Леони меня обманывал, унижал и любил в одно и то же время.

Как-то, чтобы избежать жестоких упреков, которые я ему высказывала, он попытался оправдать страсть к игре.

— Игра, — сказал он с тем притворно искренним красноречием, которое так покоряло меня, — это страсть, пожалуй, еще более сильная, чем любовь. Принося людям еще больше трагедий, она более упоительна, более героична во всем, что ведет к ее цели. Надо признаться — увы! — цель эта с виду низка, зато пыл могуч, отвага великолепна, жертвы безоговорочны и безграничны. Никогда, знай,

Жюльетта, никогда женщины не могут внушить такой страсти. Золото обладает большей притягательной силой, нежели они. По силе, по мужеству, по преданности, по упорству любовник, в сравнении с игроком, лишь беспомощное дитя, чьи усилия достойны сожаления. Сколь немногие мужчины у тебя на глазах жертвовали ради своей любовницы тем непостижимым сокровищем, той драгоценной необходимостью, тем условием существования, без чего, как принято думать, жизнь становится невыносимой и что зовется честью! Среди них я, пожалуй, не знаю ни одного, чья преданность пошла бы дальше принесения в жертву собственной жизни. Игрок же ежедневно жертвует своей честью — и тем не менее продолжает жить. Игрок страстен и стоек; он хладнокровно торжествует и хладнокровно терпит поражение; за несколько часов из последних слоев общества он поднимается в первые; за несколько часов он спускается туда, откуда он пришел, не меняя при этом ни позы, ни выражения лица. За несколько часов, не сходя с места, к которому он прикован своим демоном, он испытывает все превратности жизни, все капризы судьбы, отражающие различные общественные ранги. Поочередно, то король, то нищий, одним прыжком он преодолевает гигантскую лестницу, всегда невозмутимый, всегда владеющий собою, всегда поддерживаемый могучим честолюбием, всегда томимый жгучей жаждой, которая его губит. Кем он станет через минуту — принцем или рабом? Каким он выйдет из этого логова — нагим или согбенным под тяжестью золота? Какая разница! Он придет сюда завтра вновь попытать счастья, проиграть состояние или его утроить. Нестерпим для него только покой. Он как буревестник, что не может жить без вспененных волн, без яростных порывов ветра. Его обвиняют в том, что он любит золото; он любит его так мало, что швыряет целыми пригоршнями. Эти адские дары не способны ни пойти ему впрок, ни насытить его. Не успел он стать богачом, как ему уже не терпится разориться, чтобы испытать лишний раз это щекочущее нервы жестокое волнение, без которого жизнь для него бесцветна. Что же представляет собою золото в его глазах? Само по себе нечто меньшее, чем для вас мельчайшие крупы песка. Но золото для него — это символ добра и зла, которые он пришел искать и которым хочет бросить вызов. Золото — это его потеха, его бог, его мечта, его демон, его любовница, его поэзия; это тень, которую он преследует, хватается,

сжимает и снова выпускает из рук, дабы иметь удовольствие начать борьбу снова и вступить еще раз в рукопашную схватку с судьбою. Поверьте, это прекрасно! Пусть это нелепо, это предосудительно, ибо энергия, затраченная таким образом, бесполезна для общества, ибо человек, направляющий свои усилия для достижения такого рода цели, крадет у себе подобных все то хорошее, что он мог бы им сделать при меньшем себялюбии. Но, осуждая его, не вздумайте его презирать, крохотные существа, не способные ни на добро, ни на зло; взирайте лишь с ужасом на этого титана воли, который ведет борьбу среди разбушевавшегося моря ради одного удовольствия проявить свою силу и как бы выплеснуть ее из себя. Себялюбие влечет его к тяготам и опасностям, точно так же как вас оно приковывает к терпеливому и полезному труду. Сколько, по-вашему, людей на свете, работающих на благо родины, позабыв о себе? Он честно отделяется от них, отходит в сторону; он располагает своим будущим и настоящим, своим покоем и честью. Он обрекает себя на мучения и на усталость. Плачьте его заблуждение, но не приравняйте себя к нему в тайниках вашей гордости ради того, чтобы прославиться за его счет. Пусть его роковой пример послужит вам лишь утешением в вашей безобидной ничтожности.

— О боже! — воскликнула я. — Какими же софизмами вскормлено ваше сердце, или, вернее, как же слаб мой ум! Неужто игрока нельзя презирать? О Леони, отчего вы, у кого так много силы, не употребили ее на то, чтобы побороть самого себя ради ваших ближних?

— По-видимому, — отвечал он с горькою усмешкой, — оттого, что я плохо понял жизнь; оттого, что самолюбие было мне плохим советчиком. Ибо, вместо того чтобы выйти на сцену роскошного театра, я взобрался на такие подмости, где гуляет вольный ветер; ибо, вместо того чтобы провозглашать мнимо моральные сентенции и играть героические роли, я, желая развить свои мускулы, забавлялся тем, что выказывал чудеса силы и ловкости и ходил по натянутой проволоке. Да и это сравнение никуда не годится: у канатного плясуна есть свое тщеславие, так же, как оно есть у актера-трагика и у оратора-филантропа. У игрока же его нет: им не восхищаются, ему не хлопают и не завидуют. Его победы столь кратковременны и сопряжены с таким риском, что едва ли стоит о них говорить.

Наоборот: общество его осуждает, пошляк его презирает, особенно в те дни, когда он проигрывает. Все его филиарство сводится к тому, чтобы хорошо держаться, чтобы прилично пасть на глазах у кучки корыстолюбцев, которые даже на него не смотрят, настолько их напряженная мысль поглощена совершенно иным. Если в краткие часы удачи он и находит некоторую отраду, удовлетворяя заурядную страсть к роскоши, то эта дань, которую он воздает людским слабостям, весьма непродолжительна. Вскоре он неумолимо принесет в жертву эти минутные детские радости всепожирающей страсти своей души, той адской лихорадке, которая не позволяет ему и дня прожить так, как живут другие люди Его тщеславие? У него на это нет времени. Ведь у него есть дела поважнее! Разве ему не приходится терзать свое сердце, кружить себе голову, пить собственную кровь, истязать свою плоть, терять свое золото думать о том, стоит ли жить, то все заново созидать, то все разрушать, то скручивать в жгут то рвать на куски, то рисковать всем, то отыгрывать монету за монетой, то прятать в кошелек, то снова швырять поминутно на стол? Спросите у моряка, может ли он жить на берегу, у птицы, может ли она быть счастлива с обрезанными крыльями, у человеческого сердца, может ли оно не волноваться.

Игрок, стало быть, преступник не сам по себе: преступником почти всегда его делает положение в обществе; он губит или бесчестит свою семью. Но представим себе, что он, подобно мне, живет на свете один, не имея привязанностей, ни родственных уз достаточно тесных, чтобы о них можно было говорить, что он свободен, предоставлен самому себе, пресыщен или обманут любовью, как со мной это нередко случалось, — и вы будете сокрушаться по поводу его заблуждения и будете сожалеть, что он родился не сангвиником и не тщеславным, а желчным и малообщительным.

Откуда пошло, что игрока причисляют к флибустьерам и разбойникам? Спросите у правительств, почему они извлекают часть своих доходов из такого постыдного источника? Они одни повинны в том, что вводят в жесточайшее искушение тех, кто одержим беспокойством, кто ищет выхода в роковые часы отчаяния.

Если страсть к игре сама по себе не более постыдна, чем другие склонности, она самая опасная из всех, самая жестокая, самая

неодолимая, самая печальная по своим последствиям. Игрок не может не покрыть себя позором, причем за довольно краткий срок.

Что до меня, — продолжал он более мрачно и несколько приглушив голос, — выдержав долго такую тревожную, лихорадочную жизнь с тем рыцарским героизмом, что лежал в основе моего характера, я в конце концов тоже дал себя совратить; иными словами, душа моя мало-помалу изнасилась в этой бесконечной борьбе, и я утратил стоицизм, с которым я когда-то встречал удары судьбы, переносил лишения ужасающей нищеты, терпеливо восстанавливал свое бывшее состояние, начиная порою буквально с гроша, ждал, надеялся, подвигался осторожно, шаг за шагом, затрачивая иной раз целый месяц на то, чтобы возместить однодневный проигрыш. Такова была моя жизнь в течение долгого времени. Но, устав страдать, я наконец стал искать, помимо собственной воли, помимо добродетели (ибо у игрока, надо сказать, тоже есть своя добродетель), иные средства, чтобы поскорее вернуть себе утраченные ценности; я начал заниматься и с той поры погубил себя.

Поначалу, попав в некрасивое положение, жестоко страдаешь; затем к нему, как и к любому, привыкаешь, забываешь о нем, и острота его притупляется. Я поступал как все игроки и мотыг я сделался вреден и опасен для друзей. Я стал накликал на их головы беды, которые долгое время отважно обрушивал на свою собственную. Я сделался преступен: я стал рисковать своей честью, а потом — жизнью и честью моих близких, подобно тому, как вначале я рисковал своим состоянием. Игра ужасна тем, что не дает вам уроков, которые предостерегали бы от повторения прошлых ошибок. Она всегда приманивает вас! Золото, что никогда не истощается, вечно у вас перед глазами. Оно идет за вами по пятам, оно зазывает вас и говорит: «Надейся!», причем порою держит свое обещание и возвращает вам смелость, восстанавливает к вам доверие и как будто откладывает срок вашего бесчестия; но бесчестие уже совершено с того самого дня, когда честь была сознательно поставлена под угрозу.

Тут Леони опустил голову и впал в мрачное отчаяние. Признание, которое он, быть может, собирался мне сделать, замерло у него на устах. Видя его пристыженным и грустным, я поняла, что бесполезно его бить его же собственными софизмами, подсказанными

ему сильным душевным смятением; об этом позаботилась уже его собственная совесть.

— Послушай, — сказал он, когда мы помирились, — завтра я закрываю двери дома для всех моих сотрапезников и уезжаю в Милан, где я еще должен получить довольно крупную сумму, которая мне причитается. А ты покамест побереги себя, поправляйся, приведи в порядок все счета наших кредиторов и приготовься к отъезду. Через неделю, самое большее через две, я вернусь, чтобы заплатить долги и забрать тебя, и мы уедем, чтобы зажить вместе, куда ты захочешь, и навсегда.

Я поверила всему, согласилась на все. Он уехал, и дом был закрыт. Я не стала ждать своего окончательного выздоровления, чтобы привести все в порядок и просмотреть счета наших поставщиков. Я надеялась, что Леони напишет мне по приезде в Милан, как он мне и обещал. Больше недели он не давал о себе знать. Наконец он сообщил мне, что рассчитывает наверняка получить значительно большую сумму денег, чем мы должны, но что он вынужден пробыть в отсуствии три недели вместо двух. Я покорилась. Через три недели из нового письма узнала, что ему придется ждать поступления нужной суммы до конца месяца. Я впала в уныние. Одна в этом огромном палаццо, где, во избежание назойливых визитов приятелей Леони, я вынуждена была прятаться, опускать шторы на своем окне и выдерживать своего рода осаду, снедаемая тревогой, больная и слабая, погруженная в самые мрачные размышления и терзаемая всеми угрызениями совести, какие только способны пробудить несчастье, я не раз помышляла о том, чтобы положить конец своей незавидной жизни.

Но мучения мои на этом не кончились».

«Однажды утром, когда, как мне казалось, я сидела одна в большой гостиной, держа на коленях раскрытую книгу, куда и не думала заглядывать, вблизи послышался шорох, и, очнувшись от своего забытья, я увидела отвратительную физиономию виконта де Тальма. Я вскрикнула и собралась было его выгнать, но он рассыпался в извинениях, храня почтительный и вместе с тем насмешливый вид, и я как-то не смогла найти нужного ответа. Он заявил, что вторгся ко мне с разрешения Леони, который писал, что поручает ему непременно осведомиться о моем здоровье и известить о нем. Я не поверила подобному предлогу и захотела ему об этом сказать, но, упредив меня, он заговорил сам с таким вызывающим хладнокровием, что я уже не могла выставить его за дверь, не позвав слуг. Он, видимо, решил ничего не понимать.

— Я вижу, сударыня, — сказал он с притворным участием, — что вам известно то неприятное положение, в котором очутился барон. Будьте уверены, что мои скромные средства к вашим услугам. Этого, к сожалению, очень мало, чтобы удовлетворить расточительность столь широкой природы. Одно меня утешает: он мужествен, предприимчив и находчив. Он не раз поправлял свое состояние. Он снова его восстановит. Но вам придется страдать, вам, сударыня, такой молодой, такой хрупкой, столь достойной лучшей участи! Именно о вас я глубоко сокрушаюсь, глядя на теперешние безумства Леони и предвидя те, которые он совершит, прежде чем найдет какие-то средства. Нищета — ужасная вещь в вашем возрасте, и особенно когда женщина всегда жила в роскоши...

Тут я его резко оборвала, ибо смутно догадалась, куда он клонит, выражая свое оскорбительное сочувствие. Однако всей подлости этого субъекта я тогда еще не понимала.

Почувствовав мое недоверие, он поспешил его рассеять. Он дал мне понять со всей учтивостью, присущей его манере выражаться, изощренной и невозмутимой, что он считает себя слишком старым и недостаточно состоятельным, чтобы предложить мне свое покровительство, но что некий молодой лорд, несметно богатый,

которого он когда-то мне представил и который нанес мне уже несколько визитов, возложил на него почетную миссию прельстить меня самыми заманчивыми обещаниями. Мне не достало мужества ответить на это оскорбление. Я была так слаба и так подавлена, что лишь молча расплакалась. Подлец Шальм заключил, что я колеблюсь, и, чтобы окончательно убедить меня, он заявил, что Леони в Венецию больше не вернется, что он рабски лежит у ног княгини Дзагароло и уполномочил его обсудить упомянутый вопрос со мною.

Негодование вернуло мне наконец присутствие духа, в котором я так нуждалась, чтобы обрушить на этого человека все мое презрение и привести его в замешательство. Но он скоро оправился от растерянности.

— Я вижу, сударыня, что ваша молодость и ваша наивность ввели вас в жестокое заблуждение, но я не хочу платить вам ненавистью за ненависть: вы меня не знаете и осыпаете обвинениями; а я вас знаю и уважаю. Чтобы выслушать ваши упреки и оскорбления, мне придется призвать на помощь всю ту выдержку, в которую должна уметь облекаться истинная преданность, и все же я скажу вам, в какую пропасть вы упали и от какого позора мне хочется вас избавить.

Он произнес эти слова так энергично и в то же время так спокойно, что моя доверчивость была ими как бы покорена. На какой-то миг я подумала, что в своем горестном смятении я не сумела оценить человека искреннего. Поддавшись воздействию наглой невозмутимости, отражавшейся на его лице, я позабыла о мерзостных словах, которые он недавно произнес, и тем самым позволила ему высказаться. Он понял, что следует воспользоваться этой минутой колебания и слабости, и поспешил сообщить мне вкратце отвратительную правду о Леони.

— Я восхищен, — сказал он, — тем, что ваше сердце, покорное и доверчивое, смогло столь надолго привязаться к человеку подобного склада. Правда, природа наделила его многим таким, что способно неотразимо пленять, и он обладает исключительным умением скрывать свои гнусные проделки под внешней оболочкой порядочности. Во всех городах Европы он слывет очаровательным повесой. Только несколько человек в Италии знают, что он способен на любое злодейство ради удовлетворения своих бесчисленных прихотей. Сегодня на глазах у вас он будет подражать Ловласу, а завтра —

Верному пастуху. Будучи слегка поэтом, он способен вбирать в себя любые впечатления, постигать и ловко копировать любые добродетели, изучать и играть любые роли. Он словно чувствует все, чему подражает, и порою настолько отождествляет себя с персонажем, который он себе избрал, что начинает испытывать присущие тому страсти и проникаться его величием. Но так как в глубине души он подл и развращен, то все в нем — лишь притворство и прихоть; внезапно в крови его пробуждается порок, и в тоске от ханжества он бросается в нечто совершенно противоположное тому, что казалось его естественной привычкой. Те, кто видел его под одной из ложных личин, удивляются, полагая, что он сошел с ума; те же, кто знает, что в натуре его нет ничего правдивого, улыбаются и мирно ждут какой-нибудь новой выдумки.

Хотя этот ужасный портрет возмутил меня настолько, что я невольно стала задыхаться, все же мне показалось, будто в нем пробиваются искорки удручающей истины. Я была сражена, нервы мои сжались в комок. Я растерянно глядела на Шальма; он втайне радовался силе своих доводов и продолжал:

— Такой характер вас удивляет; будь вы более опытни, милая моя сударыня, вам было бы известно, что он весьма распространен среди людей. Чтобы обладать им в какой-то степени, необходимо известное умственное превосходство, и если некоторые глупцы от этого отказываются, то лишь потому, что они не в силах выдерживать нужный тон. Почти всегда вы заметите, что человек посредственный и тщеславный упорно замыкается в избранной им манере поведения, которая будет присуща лишь ему одному и которая примирит его с чужими успехами. Он будет признавать себя менее блестящим, зато будет утверждать, что он более надежен и полезен. Мир населен лишь несносными дураками или вредными безумцами. По зрелом размышлении, мне милее последние: я достаточно опытен, чтобы оградить себя от них, и достаточно терпим, чтобы забавляться в их компании: уж лучше посмеяться с лукавым шутком, чем зевать наедине с порядочным, но скучным человеком. Вот почему вы видели, что я близок с тем, кого не люблю и не уважаю. Впрочем, здесь меня привлекали ваша приветливость и ангельская кротость; я испытывал к вам теплое отцовское чувство. Молодой лорд Эдварде, который из своего окна видел, как вы в недвижной и задумчивой позе проводите

целые часы у себя на балконе, избрал меня в наперсники безумной страсти, внушенной ему вами. Я представил его вам здесь, откровенно и пылко желая, чтобы вы долее не оставались в горестном и унижительном положении, в котором оказались по вине бросившего вас Леони; я знал, что у лорда Эдвардса душа, достойная вашей, и что он создаст вам такую жизнь, которая вернет вам счастье и уважение... Я пришел нынче для того, чтобы возобновить свои попытки и поведать вам о его любви, которую вы не пожелали понять...

От злости я кусала носовой платок; но внезапно мною овладела некая неотступная мысль, и я встала, энергично заявив ему:

— Вы утверждаете, что Леони поручил вам сделать мне гнусное предложение, — докажите это! Да, сударь, докажите! — И я судорожно схватила его за руку.

— Черт возьми, дорогая крошка, — отвечал этот негодяй со своим проклятым хладнокровием, — доказать это очень легко, как вы сами-то не понимаете? Леони вас больше не любит, у него есть другая любовница.

— Докажите, — повторила я, выведенная из себя.

— Сию минуту, сию минуту, — ответил он. — Леони крайне нужны деньги, а существуют женщины определенного возраста, покровительство которых бывает выгодно.

— Докажите мне все, что вы сказали, — вскричала я, — или я вас тотчас же выставлю за дверь.

— Отлично, — заметил он, ничуть не смущаясь, — но заключим условие: если я солгал, я уйду отсюда и никогда больше не переступлю этого порога; если же я сказал правду, утверждая, что Леони поручил мне поговорить с вами по поводу лорда Эдвардса, вы позволите мне зайти с ним к вам нынче вечером.

С этими словами он вынул из кармана письмо, на конверте которого я узнала почерк Леони.

— Да! — воскликнула я, увлеченная neodолимым желанием узнать свою судьбу. — Да, обещаю.

Шальм медленно развернул письмо и передал мне. Я прочла:

«Дорогой виконт, хотя ты подчас и вызываешь во мне вспышки гнева, когда я охотно убил бы тебя, полагаю все же, что ты питаешь ко мне истинную дружбу и предлагаешь свои услуги вполне искренне. Тем не менее я ими не воспользуюсь. У меня есть кое-что получше, и

дела мои вновь начинают идти великолепно. Единственное, что меня останавливает и пугает, так это мысль о Жюльетте. Ты прав: в первый же день она сможет разрушить все мои замыслы. Но что поделать? Я испытываю к ней самую дурацкую и самую непобедимую привязанность. Ее отчаяние начисто лишает меня сил. Я не могу видеть ее слез, не падая тут же к ее ногам... Ты полагаешь, что ее можно соблазнить? Нет, ты ее не знаешь: алчности она никогда не поддастся. А вот досаде? — говоришь ты. — Да, это более вероятно. Какая женщина не сделает в сердцах того, что она не сделала бы по любви! Жюльетта горда, а я в этом за последнее время убедился. Если ты слегка позлословишь на мой счет, если ты ей дашь понять, что я неверен... быть может!.. Но, боже мой! Я не могу об этом и подумать, сердце у меня так и разрывается... Попробайся; если она уступит, я стану презирать ее и забуду; если же она устоит... право, тогда увидим! Каков бы ни был результат твоих усилий, мне предстоит пережить величайшую катастрофу или вынести страшнейшую сердечную муку».

— Теперь, — сказал Шальм, когда я кончила читать, — я пойду за лордом Эдвардсом.

Я закрыла лицо руками и долго-долго молчала, не сходя с места. Но внезапно я спрятала это проклятое письмо за вырез платья и резко дернула за шнурок звонка.

— Пусть горничная уложит мне портплед, — сказала я вошедшему лакею, — и пусть Беппо подаст гондолу.

— Что вы собираетесь делать, дорогое дитя? — спросил удивленный виконт.

— Куда вы хотите ехать?

— К лорду Эдвардсу, по-видимому, — отвечала я ему с горькой усмешкой, смысла которой он не разгадал. — Ступайте, предупредите его, — продолжала я, — скажите ему, что вы заработали ваши деньги и что я лечу к нему.

Он начал понимать, что я неистово плумлюсь над ним, и замер в нерешительности. Не сказав более ни слова, я вышла из гостиной, чтобы переодеться в дорогу. Затем я сошла вниз в сопровождении горничной, несшей портплед. В ту минуту, когда я собиралась сесть в гондолу, я почувствовала, как чья-то рука нервно ухватилась за мою

накидку. Я оглянулась и увидела Шельма, испуганного и в полном смятении.

— Куда же вы? — спросил он срывающимся голосом.

Я торжествовала: мне удалось поколебать невозмутимость этого негодяя.

— Я еду в Милан, — отвечала я, — и заставлю вас потерять те две-три сотни цехинов, что обещал вам лорд Эдвардс.

— Одну минуту, — сказал виконт свирепея. — Верните мне это письмо, или вы никуда не уедете.

— Беппо! — крикнула я вне себя от гнева и страха, устремляясь к гондольеру. — Избавь меня от этого распутника, который того и гляди сломает мне руку.

Все слуги Леони считали меня очень мягкой и были мне преданы. Беппо молча и решительно взял меня за талию и снял с лестницы. При этом он оттолкнулся ногой от последней ступеньки, и гондола отчалила в ту минуту, как он перенес меня на борт с поразительной ловкостью и силой. Шальм с трудом удержался на лестнице и чуть было не свалился в канал. Он бросил на меня взгляд, которым словно клялся мне в вечной ненависти и неумолимой мести».

«Я приезжаю в Милан, проведя в дороге круглые сутки и не давая себе времени ни на отдых, ни на размышления. Я останавливаюсь в гостинице, адрес которой мне дал Леони. Я спрашиваю его, на меня смотрят с удивлением.

— Он здесь не живет, — отвечает камерьере [note 1](#). — Он остановился у нас по приезде, снял маленькую комнату, где положил свои вещи; но приходит он сюда только для того, чтобы забрать письма и побриться, и затем снова уходит.

— Но где же он живет? — спросила я.

Я заметила, что камерьере смотрит на меня с любопытством и как-то нерешительно, и что, то ли из уважения, то ли из сострадания, он медлит с ответом. Я из скромности не стала настаивать и велела провести себя в комнату, что снял Леони.

— Если вы знаете, где его можно застать в этот час, — сказала я, — ступайте за ним и скажите, что приехала его сестра.

Через час Леони появился и бросился ко мне с распростертыми объятиями.

— Подожди, — промолвила я отступая, — если ты меня обманывал до сих пор, не добавляй нового преступления ко всем тем, что ты уже совершил по отношению ко мне. Вот, взгляни на это письмо — оно написано тобой? Если твой почерк подделали, скажи мне об этом сию же минуту, ибо я надеюсь и задыхаюсь от нетерпения.

Леони бросил взгляд на письмо и стал мертвенно-бледным.

— Боже мой! — воскликнула я. — А я-то полагала, что меня обманули! Я ехала к тебе почти в полной уверенности, что ты не участвовал в этой подлости. Я твердила себе: он причинил мне много зла, он меня уже обманул, но, несмотря ни на что, он меня любит. Если действительно я его стесняю и приношу ему вред, он сказал бы мне это примерно месяц тому назад, когда у меня было еще достаточно мужества, чтобы расстаться с ним, но он бросился к моим ногам и умолял остаться. Если он интриган и честолюбец, ему не нужно было меня удерживать: ведь у меня нет состояния, а моя

любовь не приносит ему никакой выгоды. С чего бы ему сейчас жаловаться на мою навязчивость? Чтобы прогнать меня, ему достаточно сказать лишь слово. Он знает, что я горда: ему не следует опасаться ни слез моих, ни упреков. Для чего ему было меня унижать?

Я не выдержала; хлынувшие потоком слезы сдавливали мне горло и не давали говорить.

— Для чего было мне тебя унижать? — вскричал Леони в отчаянии. — Чтобы избежать лишнего угрызения и без того истерзанной совести. Тебе этого не понять, Жюльетта. Сразу видно, что ты никогда не совершала преступления.

Он замолчал; я упала в кресло, и мы оба замерли в каком-то оцепенении.

— Бедный ангел! — воскликнул он наконец. — Да разве ты заслужила участь подруги и жертвы такого негодяя, как я? Чем ты прогневила бога до своего рождения, несчастная девочка, что он тебя бросил в объятия отверженного, из-за которого ты погибаешь от стыда и отчаяния? Бедная Жюльетта! Бедная Жюльетта!

И, в свою очередь, он разрыдался.

— Полно, — сказала я, — я приехала, чтобы выслушать твое оправдание или вынесенный мне приговор. Ты виновен, я прощаю тебя и уезжаю.

— Никогда не говори об этом! — неистово крикнул он. — Вычеркни раз навсегда это слово из нашего обихода. Когда ты захочешь меня бросить, сделай это незаметно, так, чтобы я не мог тебе помешать. Но пока в моих силах останется хоть капля крови, я на это не соглашусь. Ты мне жена, ты моя, и я люблю тебя. Из-за меня ты можешь умереть с горя, но я тебя не отпущу.

— Я согласна на горе и на смерть, если ты скажешь, что все еще любишь меня.

— Да, я люблю тебя, люблю! — вскричал он с присущей ему исступленностью. — Я люблю тебя одну и никогда не смогу полюбить другую женщину!

— Несчастный! Ты лжешь! — отвечала я. — Ты уехал вслед за княгиней Дзагароло.

— Да, но я ее не переносу.

— Как? — воскликнула я, застыв от изумления. — Так почему же ты поехал за нею следом? Какие же постыдные тайны скрываются за

всеми этими недомолвками? Шальм пытался внушить мне, что только подлое намерение влечет тебя к этой женщине, что она стара... что она тебе платит... Ах, какие только слова ты заставляешь меня говорить!

— Не верь этой клевете, — отвечал Леони. — Княгиня молода и хороша собою, и я влюблен в нее.

— Тем лучше, — отвечала я, глубоко вздыхая. — Я предпочитаю видеть вас неверным, но не обещанным. Любите ее, любите как можно сильнее: она богата, а вы бедны! Если вы ее сильно полюбите, богатство и бедность будут для вас обоих пустыми словами. Я вас любила именно так, и хотя я жила лишь вашими дарами, мне нечего стыдиться; теперь же я могу только унижить себя и стать для вас несносной. Дайте же мне уехать. Ваше упорное желание удержать меня ради того, чтобы я умерла от страданий, безумно и жестоко.

— Это правда, — мрачно сказал Леони. — Уезжай! Я веду себя как палач, желая тебя удержать.

Он вышел в полном отчаянии. Я упала на колени, прося у бога силы. Я старалась оживить в памяти черты моей матери. Наконец я встала, чтобы снова наскоро собраться в дорогу.

Когда мои вещи были уложены, я заказала почтовую карету на тот же вечер и решила покамест прилечь. Я так изнемогала от усталости, отчаяние так сломило меня, что, засыпая, я почувствовала нечто вроде успокоения, которым веет от могилы.

Через час я проснулась от страстных поцелуев Леони.

— Тщетно ты хочешь уехать, — произнес он, — это свыше моих сил. Я отослал твоих лошадей и велел распаковать твои вещи. Я только что совершил один прогулку за город и попытался изо всех сил внушить себе мысль, что должен тебя потерять. Я решил не прощаться с тобой. Я отправился к княгине, старался убедить себя, что люблю ее. Нет, я ее ненавижу и люблю только тебя. Ты должна остаться.

Эти постоянные вспышки чувства истощали меня и физически и духовно: я теряла уже способность рассуждать; добро и зло, уважение и презрение становились для меня пустыми звуками, словами, которые я уже отказывалась понимать и которые пугали меня так, словно мне предстояло вычислить какой-то несметный ряд цифр. Леони уже подавлял меня не только морально: он обладал еще и какой-то магнетической силой, от которой мне было не уйти. Его

взгляд, голос, слезы заставляли трепетать не только мое сердце, но и мои нервы; я была всего лишь машиной, которой он управлял, как ему вздумается.

Я простила ему, я отдалась его ласкам и пообещала ему все, чего он хотел. Он сказал мне, что княгиня Дзагароло, будучи вдовой, предполагала выйти за него замуж; что непродолжительное и легкомысленное увлечение, которое он поначалу испытывал, показалось ей любовью; что она безумно скомпрометировала себя ради него и что теперь он вынужден щадить ее и порывать с ней лишь постепенно, иначе ему придется иметь дело со всем семейством.

— Если бы речь шла только о дуэли со всеми ее братьями, кузенами и дядьями, — сказал он, — меня бы это мало заботило; но они поступят, как знатные господа: донесут, будто я карбонарий, и засадят меня в тюрьму, где мне придется, может быть, прождать лет десять, пока кто-то сообразовит заняться моим делом.

Я выслушала эти нелепые рассказы с детской доверчивостью. Леони никогда не занимался политикой, но мне приятно было убеждать себя, будто все, что казалось загадочным в его жизни, связано с какими-то широкими замыслами в этой области. Я согласилась постоянно выдавать себя в гостинице за его сестру, редко показываться на улице, никогда не выходить с ним вместе и, наконец, предоставить ему полное право уходить от меня в любой час по требованию княгини».

«Такая жизнь оказалась ужасной, но я ее вынесла. Муки ревности были мне дотоле неизвестны; теперь они появились, и я испытала их все до одной. Я избавляла Леони от скучной необходимости заглушать эту боль; впрочем, у меня уже не хватало и сил на то, чтобы ее выказывать. Я решила, что мне остается лишь молча сойти в могилу: я так плохо чувствовала себя, что была вправе этого ожидать. В Милане тоска меня одолевала еще пуще, чем в Венеции. Здесь на мою долю выпадало больше страданий и меньше развлечений. Леони открыто жил с княгиней Дзагароло. Он проводил все вечера с нею, либо на спектаклях, в ее ложе, либо на балах; он забегал лишь на минуту повидать меня, затем снова ехал к ней, чтобы вместе поужинать, и возвращался в гостиницу лишь в шесть часов утра. Он ложился спать, валясь с ног от усталости, нередко в самом дурном настроении. Вставал он в полдень, молчалив и рассеян, и отправлялся кататься в коляске со своею любовницей. Я часто видела, как они проезжают, Леони, сидя подле нее, хранил торжествующий вид, который так шел к нему: в осанке его наблюдалось нечто щегольское, а в глазах светились счастье и нежность, точь-в-точь как прежде, когда я, бывало, сижу с ним рядом; теперь мне приходилось выслушивать от него лишь жалобы и сетования на то, как ему не везет. Правда, мне было как-то отраднее, когда он приходил ко мне встревоженный, пресыщенный своим рабством, нежели в те минуты, когда он бывал невозмутим и беспечен, как это нередко случалось; мне казалось тогда, что он совсем забыл, как еще недавно любил меня и как я все еще его люблю; он находил вполне естественным поверять мне подробности своих близких отношений с другой женщиной и не замечал, что улыбка, появлявшаяся на моем лице, когда я его слушала, всегда лишь немое и судорожное выражение боли.

Однажды, когда солнце уже садилось, я выходила из собора, где горячо молила бога призвать меня к себе и позволить мне искупить страданиями мои заблуждения. Я медленно шла под сводами великолепного портала, прислоняясь время от времени к колоннам, — настолько была слаба. Злой недуг медленно подтачивал меня. От

волнения, вызванного молитвой, и от дурманящего воздуха в церкви я обливалась холодным потом; я походила на призрак, вышедший из-под надгробной плиты, чтобы еще раз взглянуть на последние лучи дневного света. Какой-то человек, который уже некоторое время шел за мною следом, чему я не придавала особого значения, обратился ко мне, и я обернулась, не испытывая ни удивления, ни страха, с равнодушием умирающего. Передо мною стоял Генриет.

Тотчас же воспоминания об отчизне, о моей семье нахлынули на меня с неудержимой силой. Я позабыла о странном поведении этого молодого человека по отношению ко мне, о том неумолимом властном воздействии, которое он оказывал на Леони, о его былой любви, столь неприязненно встреченной мною, и о ненависти к нему, которая вспыхнула у меня впоследствии. Я вспомнила лишь об отце и матери и, стремительно протянув ему руку, засыпала его вопросами. Он не торопился с ответом, хотя, казалось, был тронут порывом моей бурной радости.

— Вы здесь одна? — спросил он. — Могу ли я поговорить с вами, не подвергая вас опасности?

— Я одна, никто меня здесь не знает, да и знать не хочет. Сядемте на эту каменную скамью, ибо мне очень нездоровится, и, бога ради, расскажите мне о родителях. Вот уже целый год, как я не слышала о них.

— О ваших родителях! — грустно воскликнул Генриет. — Один из них уже не плачет по вас.

— Отец умер! — вскричала я, вскакивая с места.

Генриет не ответил. Я в изнеможении опустилась на скамью и прошептала:

— Боже, ты, что соединишь меня с ним, сделай так, чтобы он простил меня!

— Ваша мать, — сказал Генриет, — долго была больна. Она попыталась развлечься, но слезы сгубили ее красоту, и она не нашла утешения в свете.

— Отец умер! — повторила я, всплеснув ослабевшими руками. — Мать состарилась и все грустит! А тетушка?

— Тетушка старается утешить вашу мать, доказывая ей, что вы недостойны ее сожалений; но ваша матушка не слушает ее и с каждым днем увядает от тоски и одиночества. Ну, а вы, сударыня?

Генриет произнес эти слова крайне холодно, однако под его презрением угадывалось некоторое участие.

— А я, как видите, умираю.

Он взял меня за руку, и слезы навернулись ему на глаза.

— Бедная девочка! — сказал он. — Не я в том повинен. Я сделал все, что мог, чтобы вы не упали в эту пропасть, но вы сами того захотели.

— Не упоминайте об этом, — сказала я, — с вами мне говорить об этом не под силу. Скажите, разыскивала ли меня матушка после моего бегства?

— Ваша матушка искала вас, но недостаточно настойчиво. Бедная женщина! Она была в ужасе, ей не хватило выдержки. Крови, что в вас течет, Жюльетта, недостает силы.

— Да, это правда, — отвечала я равнодушно. — Мы все в нашей семье какие-то апатичные и любим покой. Матушка надеялась, что я вернусь?

— Она надеялась на это безрассудно и по-детски. Она по-прежнему вас ждет и будет ждать до своего последнего вздоха.

Я разрыдалась. Генриет молча дал мне выплакаться. Он как будто тоже плакал. Я вытерла слезы и спросила его, глубоко ли была удручена матушка моим позором, краснела ли она за меня, может ли она еще произносить мое имя.

— Оно у нее постоянно на устах, — ответил Генриет. — Она всем поведала о своем горе. Теперь уже людям эта история надоела, и они улыбаются, когда ваша мать начинает плакать, или же стараются не попадаться ей на глаза, говоря: «Вот еще раз госпожа Ройтер хочет рассказать нам о похищении своей дочери!».

Я выслушала все это, ничуть не рассердясь, и, взглянув ему в глаза, спросила:

— А вы, Генриет, презираете меня?

— У меня не осталось к вам ни любви, ни уважения, — отвечал он. — Но мне вас жаль, и я готов вам служить. Располагайте моими деньгами. Хотите, я напишу вашей матери? Хотите, я отвезу вас к ней? Говорите и не бойтесь, что это мне будет в тягость. Мною движет не любовь, а чувство долга. Вы и не знаете, Жюльетта, насколько легче жить тем, кто создает себе строгие правила и их придерживается.

Я ничего на это не ответила.

— Так вы хотите оставаться одинокой и покинутой? Сколько тому времени, как ваш муж бросил вас?

— Он меня не бросил, — ответила я, — мы живем вместе. Он возражает против моего отъезда, который я наметила уже давно, но о котором уже не в силах и помышлять.

Я снова умолкла. Он подал мне руку и проводил меня до дому. Я заметила это, лишь когда мы к нему подошли. Мне казалось, что я опираюсь на руку Леони; я старалась скрыть свои страдания и не произнесла ни слова.

— Угодно ли вам, чтобы я пришел завтра узнать о ваших намерениях? — спросил он, прощаясь со мною у порога.

— Да, — отвечала я, не подумав, что он может встретиться с Леони.

— В котором часу? — спросил он.

— Когда хотите, — отвечала я, окончательно отупев.

Назавтра он пришел вскоре после ухода Леони. Я уже не помнила, что позволила ему навестить меня, и крайне удивилась; ему пришлось напомнить мне о моем разрешении. И тут мне пришли на память кое-какие слова из подслушанного мною разговора Леони с его приятелями; смысл их так и оставался для меня неясен, но мне казалось, что они относились к Генриету и таили в себе угрозу смерти. Я содрогнулась при мысли, что подвергаю его большой опасности.

— Выйдемте на улицу, — сказала я с ужасом в голосе, — находиться здесь для вас крайне неосторожно.

Он улыбнулся, и лицо его выразило глубочайшее презрение к тому, чего я так опасалась.

— Поверьте мне, — сказал он, заметив, что я намерена настаивать, — человек, о котором вы говорите, не осмелился бы поднять на меня руку — он и глаза-то на меня поднять не смеет.

Я не могла стерпеть, что так говорят о Леони. Несмотря на все его провинности, все его проступки, он все еще оставался для меня самым дорогим существом на свете. Я попросила Генриета не отзываться столь дурно о Леони в моем присутствии.

— Подавите меня своим презрением, — сказала я ему, — упрекните меня в том, что я недостойная, бессердечная дочь, если смогла покинуть самых лучших родителей, какие только бывали на

свете, и попрасть все законы, установленные для лиц моего пола, — я не оскорблюсь; я выслушаю вас в слезах и буду вам притом не менее благодарна за те услуги, которые вы предлагали мне вчера. Но позвольте мне уважать имя Леони; это моя единственная отрада, это все, что в глубине души я могу противопоставить хулящей меня молве.

— Уважать имя Леони! — воскликнул Генриет с горькой усмешкой. — Бедная женщина! И все же я соглашусь на это, если вы возвратитесь в Брюссель! Утешьте вашу мать, вернитесь на путь долга, и я вам обещаю оставить в покое этого негодяя, который погубил вас и которого я могу сломить, как соломинку.

— Возвратиться к матушке! — откликнулась я. — О, сердце повелевает мне это ежеминутно. Но вернуться в Брюссель запрещает мне моя гордость. Как поносили бы меня все те женщины, которые когда-то завидовали моему блестящему жребию и которые теперь радуются моему унижению!

— Боюсь, Жюльетта, — возразил он, — что вы приводите не лучший довод. У вашей матери есть загородный дом, где вы могли бы с нею жить вдаль от беспощадных светских толков. С вашим состоянием вы могли бы поселиться и в любом другом месте, где о ваших невзгодах никто не знает и где ваша красота и ваш кроткий характер привлекут к вам вскоре новых друзей. Но вы не хотите расстаться с Леони, признайтесь!

— Я хочу это сделать, — сказала я в слезах, — да не могу.

— Несчастнейшая, несчастнейшая из женщин! — грустно заметил Генриет. — Вы добрая и преданная, но вам не хватает гордости. Тому, в ком отсутствует это благородное чувство, ничто уже не поможет. Бедное слабое создание! Мне жаль вас от всей души, ибо вы осквернили ваше сердце, прикоснувшись к сердцу того, кто бесчестен; вы склонились перед его гнусной волей, вы полюбили подлеца! Я думаю о том, каким образом я вас мог когда-то полюбить, но также и о том, как бы я мог сейчас не пожалеть вас.

— Но в конце концов, — воскликнула я в испуге, пораженная и самими его словами и их тоном, — что же такое совершил Леони, если вы считаете себя вправе так отзываться о нем?

— Вы сомневаетесь в этом праве, сударыня? Не скажете ли вы мне, почему Леони, который храбр — это бесспорно — и который является лучшим из всех известных мне стрелков и фехтовальщиков,

ни разу не осмелился искать со мною ссоры, а я ведь шпаги и в руках не держал и тем не менее выгнал его из Парижа одним только словом, а из Брюсселя — одним только взглядом!

— Все это непостижимо, — прошептала я, совершенно подавленная.

— Да разве вам неизвестно, чья вы любовница? — энергично продолжал Генриет. — Да разве вам никто не рассказывал об удивительных приключениях кавалера Леони? Разве вам ни разу не приходилось краснеть за то, что вы были его сообщницей и бежали с жуликом, ограбившим лавку вашего отца?

У меня вырвался горестный крик, и я закрыла лицо руками; затем, подняв голову, я крикнула изо всех сил:

— Это ложь! Я никогда не совершала такой подлости! Да и Леони на нее неспособен. Не успели мы проехать и сорока лье по дороге в Женеву, как Леони остановился среди ночи и, потребовав сундук, уложил в него все драгоценности, чтобы отправить их моему отцу.

— Вы уверены, что он это сделал? — спросил Генриет, презрительно рассмеявшись.

— Уверена! — воскликнула я. — Я видела сундук и видела, как Леони прятал туда драгоценности.

— И вы уверены, что сундук не следовал за вами на всем остальном пути? Вы уверены, что он не был открыт в Венеции?

Эти слова, будто ослепительно яркий луч света, поразили меня настолько, что я как-то сразу прозрела. Я вспомнила то, что так тщетно пыталась оживить в своей памяти: обстоятельства, при которых я впервые познакомилась с этим злосчастным сундуком. В ту же минуту я припомнила последовательно все три случая, когда он передо мною появлялся; все они логически увязывались между собою и невольно приводили меня к потрясающему выводу: во-первых, ночь, проведенная в загадочном замке, где я увидела, как Леони прячет бриллианты в этот сундук; во-вторых, последняя ночь в швейцарском шале, когда я увидела, как Леони таинственно откапывает вверенное земле сокровище; в-третьих, второй день нашего пребывания в Венеции, когда я нашла сундук пустым и обнаружила на полу бриллиантовую булавку, завернутую в клочок упаковочной ваты. Визит ростовщика Тадея и те пятьдесят тысяч франков, которые, судя по подслушанному мною разговору между Леони и его приятелями,

он отсчитал ему по нашем приезде в Венецию, полностью совпадали с воспоминанием, связанным с этим утром.

— Итак, — воскликнула я, заломив руки и подняв их ввысь, словно говоря сама с собою, — все потеряно для меня, даже уважение матушки! Все отравлено, даже воспоминание о Швейцарии! Эти шесть месяцев любви были предназначены для того, чтобы утаить кражу!

— И чтобы сбить с толку правосудие, — добавил Генриет.

— Да нет, да нет же! — воскликнула я, исступленно глядя на него так, словно собиралась о чем-то расспросить. — Он любил меня, несомненно любил. Когда мне на память приходит та пора, я во всем нахожу бесспорное подтверждение его любви. Просто это был вор, который похитил девушку и шкатулку, который любил и ту и другую.

Генриет пожал плечами; я почувствовала, что заговариваюсь, и когда я попыталась снова собраться с мыслями, мне захотелось во что бы то ни стало узнать причину непостижимого влияния, которое он оказывал на Леони.

— Вы хотите это знать? — спросил он и на минуту задумался. Потом добавил:

— Я вам об этом расскажу, я могу об этом рассказать. Впрочем, трудно себе представить, что вы прожили с ним год, так ни о чем и не подозревая. Ведь он в Венеции, должно быть, многих одурачил у вас на глазах...

— Одурачил? Он! Каким образом? Подумайте, о чем вы говорите, Генриет! Вы на него и так уже взвалили достаточно обвинений.

— Я все еще продолжаю считать, что вы не способны были стать его сообщницей, но берегитесь — как бы вам не стать ею в будущем! Подумайте о вашей семье. Не знаю, до каких пор можно безнаказанно быть любовницей мошенника! — Слушая вас, я умираю со стыда, сударь, так беспощадны ваши слова. Довершите задуманное вами: разбейте вконец мое сердце, рассказав о том, что дает вам, собственно говоря, право распоряжаться жизнью и смертью Леони? Где вы с ним познакомились? Что вам известно о его прошлом? Я, увы, ничего об этом не знаю. Я увидела в нем столько противоречивого, что уже не знаю, богат он или беден, знатного или простого он происхождения; я даже не знаю, свое ли имя он носит.

— Это единственная вещь, которую, по милости случая, он не украл, — ответил Генриет. — Его действительно зовут Леоне Леони, и он является потомком одного из самых знатных родов Венеции. У его отца было еще кое-какое состояние, и он владел тем самым палаццо, где вы недавно жили. Он питал безграничную нежность к своему единственному сыну, чьи рано проявившиеся способности предвещали недюжинную натуру. Леони получил тщательное воспитание и уже в пятнадцать лет объездил пол-Европы со своим наставником. За пять лет он изучил с невероятной легкостью язык, литературу и нравы народов, среди которых он побывал. Смерть отца заставила его вернуться в Венецию вместе с наставником. Наставник этот был аббат Дзанини, которого вы часто могли видеть минувшей зимой у вас в доме. Не знаю, правильно ли вы о нем судили: это человек с живым воображением, отменно тонким вкусом, необычайно образованный, но крайне безнравственный и, несомненно, подлый, умело прикрывающийся при этом терпимостью и здравым смыслом. Он, естественно развратил совесть своего воспитанника, подменив в душе его понятия о справедливости мнимым представлением о жизненной мудрости, которая якобы заключается в том, что можно идти на любые забавные шалости, на любые выгодные проделки, на любой хороший или дурной поступок, лишь бы прельстить человеческое сердце. Я познакомился с этим Дзанини в Париже и, помнится, слышал, как он рассуждал, что, мол, надо уметь творить зло, чтобы уметь творить добро, надо уметь наслаждаться пороком, чтобы уметь наслаждаться добродетелью. Человек этот, более осторожный, более пронырливый и более хладнокровный, чем Леони, гораздо глубже его по своим знаниям. Леони же, увлеченный своими страстями и сбитый с пути своими причудами, подражает ему лишь отдаленно, совершая при этом массу промахов, которые окончательно губят его в глазах общества, да и уже его погубили, ибо отныне он отдал себя на милость нескольких алчных сообщников и кое-кого из числа порядочных людей, чье великодушие скоро истощится.

Смертельный холод постепенно сковывал мои члены по мере того, как Генриет рассказывал мне все это. Я сделала над собою усилие, чтобы выслушать его до конца».

«В двадцатилетнем возрасте, — продолжал Генриет, — Леони оказался обладателем приличного состояния и смог отныне поступать, как ему вздумается. В его положении было чрезвычайно просто заняться добрыми делами. Но он счел, что отцовское наследство далеко не соответствует его честолюбивым замыслам, и в ожидании того, что ему удастся увеличить свое состояние до размеров, отвечающих его желаниям осуществить уж не знаю, какие именно — сумасбродные или преступные — затеи, он за два года промотал все эти деньги. Его дом, который он отделал с известной вам роскошью, стал местом встреч всех беспутных молодых людей и всех падших женщин Италии. Там принимали многих иностранцев, любителей изящного образа жизни; и так Леони, успевший за время своих путешествий завязать знакомство со множеством приличных людей, завел теперь во всех странах самые блестящие связи и обеспечивал себе самых полезных покровителей.

В это многочисленное общество неизбежно втерлись, как то случается повсюду, интриганы и мошенники. В Париже вокруг Леони я заметил нескольких личностей, внушивших мне недоверие, которые, как я нынче подозреваю, составили, должно быть, вместе с ним и маркизом де *** компанию великосветских жуликов. Покорно следуя их советам, наставлениям Дзанини или своим природным склонностям, молодой Леони, по-видимому, стал упражняться в шулерстве. Несомненно одно: он развил в себе этот талант до высочайших пределов и применял его, вероятно, во всех городах Европы, не возбуждая ни малейших подозрений. Окончательно разорившись, он уехал из Венеции и снова пустился в странствия, уже как авантюрист Тут нить его приключений ускользает от меня. Дзанини, от которого я частично слышал то, что вам рассказываю, утверждал, будто с этого времени потерял его из виду, и узнавал лишь из писем, приходивших нерегулярно, о бесчисленных превратностях фортуны и бесчисленных светских интригах Леони. Он оправдывал себя в том, что воспитал такого ученика, говоря, что Леони увлекся побочной стороной его доктрины, но извинял и воспитанника,

расхваливая в нем поразительное умение жить, душевную силу и присутствие духа, с которой тот подчинял себе судьбу, стойко встречая и преодолевая ее превратности. Наконец Леони приехал в Париж со своим верным другом, известным вам маркизом де ***, и там-то мне представилась возможность приглядеться к нему и составить о нем суждение.

Тот же Дзанини представил его княгине Х***, чьих детей он воспитывал. Благодаря своему замечательному уму этот человек уже несколько лет занимал в обществе княгини менее зависимое положение по сравнению с тем, что обычно занимают гувернеры в знатных семьях. Он учтиво встречал гостей, умело направлял беседу, прекрасно пел и дирижировал на концертах.

Леони с его умом и талантом был принят весьма радушно и вскоре многие с восторгом стали искать его общества. На некоторые парижские кружки он оказывал то же огромное влияние, какое впоследствии, на ваших глазах, он сумел оказать на целый провинциальный город. Он великолепно держал себя, редко играл, но при этом всегда проигрывал огромные суммы маркизу де ***. Этого маркиза Дзанини ввел в салон вскоре после Леони. Хотя тот был соотечественником Леони, он притворялся, что его не знает, и рассказывал на ухо всем и каждому, будто в Венеции они повздорили, оказавшись соперниками в любви; и, мол, хотя тот и другой уже исцелились от своей страсти, это ничуть не примирило их между собой. Вследствие этого обмана никто и не подозревал, что оба они стакнулись ради мошеннических проделок.

Этими проделками они и занимались целую зиму не внушая и тени подозрения. Порою тот и другой проигрывали колоссальные суммы, но чаще всего они выигрывали, причем каждый из них жил по-княжески. Однажды некий мой приятель, который крупно проигрывал против Леони, заметил, что тот подает неуловимый знак венецианскому маркизу. Он смолчал и в течение нескольких дней прилежно наблюдал за тем и другим. Однажды, когда мы вместе с ним понтировали и постоянно проигрывали, он подошел ко мне и сказал: «Взгляните на этих двух итальянцев: я убежден и заявляю почти с полной уверенностью, что они сговорились и плутуют. Завтра я уезжаю из Парижа по крайне неотложному делу я поручаю вам тщательно проверить мои наблюдения и, в случае необходимости,

оповестить своих друзей Вы человек разумный и осторожный и будете действовать, надеюсь, лишь твердо зная, что вам надо делать. Во всяком случае, если вы столкнетесь с этими субъектами, не упустите случая назвать им мое имя, как первого, кто их уличил, и напишите мне я беру на себя свести счеты с одним из них». Он оставил мне свой адрес и уехал. Я присмотрелся к обоим рыцарям наживы и полностью убедился в том, что друг мой не ошибся. Окончательно раскрыть их нечестные проделки мне удалось как раз на одном из вечеров, у княгини Х***. Я тотчас же взял Дзанини под руку и отвел его в сторону.

«Знаете ли вы, — спросил я его, — тех двух венецианцев, которых вы здесь представили?» — «Превосходно, — ответил он весьма самодовольно. — Одного я воспитывал, а другой из них — мой приятель». — «С чем вас и поздравляю, — сказал ему я, — это два шулера»

В реплике моей прозвучала такая уверенность, что он изменился в лице, несмотря на все свое умение притворяться. Я заподозрил, что он заинтересован в их выигрыше, и заявил ему, что намерен разоблачить обоих его земляков. Он окончательно смутился и стал усиленно умолять этого не делать. Он попытался убедить меня, что я ошибаюсь. Я попросил, чтобы он провел меня с маркизом в свою комнату Там я все объяснил в немногих очень ясных словах, и маркиз даже не стал оправдываться: он побледнел и лишился чувств. Не знаю, попросту ли разыграли эту сцену он и аббат, но они так горестно заклинали меня, маркиз выглядел столь пристыженным, столь сокрушенным, что я по доброте своей смягчился. Я потребовал только, чтобы он немедленно покинул Францию вместе с Леони. Маркиз согласился на все. Но мне хотелось самому потребовать того же от его сообщника, и я велел сказать ему, чтобы он пришел наверх. Он заставил долго ждать себя и наконец явился, но не с покорным видом и не дрожа всем телом, как тот, а трепеща от ярости и сжимая кулаки. Он рассчитывал, быть может, устроить меня своею наглостью, я же ответил, что готов дать ему любое удовлетворение, какое он только захочет, но прежде публично обличу его. При этом я предложил маркизу от имени моего друга сатисфакцию на тех же условиях. Наглость Леони была поколеблена. Его приятели внушили ему, что, если он будет упорствовать, он погиб. Он решил покориться, но не без

сильного сопротивления и ярости, и оба уехали, не появившись больше в гостиной. Маркиз на следующий день отправился в Геную, Леони — в Брюссель. Оставшись наедине с Дзанини в его комнате, я дал ему понять, что он внушает мне определенные подозрения и что я намерен изобличить его перед княгиней. Поскольку у меня не было против него непреложных доказательств, он проявил меньшую покорность, нежели маркиз, и не стал, подобно ему, умолять о пощаде, однако я заметил, что он напуган не менее его. Дзанини пустил в ход всю гибкость своего ума, чтобы заручиться моей благосклонностью и молчанием. Все же я заставил аббата признаться, что ему в какой-то степени известны гнусные проделки его воспитанника, и принудил его к правдивому рассказу о нем. И тут осторожность изменила Дзанини: ему бы следовало упорно утверждать, что он ничего не знает; но суровость, с которой я угрожал разоблачить представленных им гостей, привела к тому, что он потерял самообладание.

Я расстался с ним в твердой уверенности, что он пройдоха, такой же подлый, как и те двое, но более осмотрительный. Я сохранил его рассказ втайне из соображений, касавшихся моей собственной репутации. Я опасался, как бы влияние, которое он имел на княгиню, не оказалось убедительнее моей честности, как бы он хитроумно ни выставил меня в ее глазах обманщиком или сумасбродом, что делало бы поведение мое крайне нелепым. Да мне и надоела эта грязная история. Я постарался забыть о ней и через три месяца уехал из Парижа. Вы знаете, кого я прежде всего искал на бале у Дельпека. Я был тогда еще в вас влюблен, и, находясь на вечере всего какой-нибудь час, не знал, что вы собираетесь замуж. Я обнаружил вас в толпе гостей; подойдя ближе, я увидел подле вас Леони. Я подумал, что мне все это снится, что меня обманывает сходство черт. Я стал расспрашивать и убедился, что ваш жених — тот самый мошенник, который украл у меня три-четыре сотни луидоров. Я не надеялся вытеснить его, мне как будто даже этого не хотелось. Быть в вашем сердце преемником подобного человека, быть может, осушать на ваших щеках следы его поцелуев — при этой мысли вся моя любовь замирала. Но я поклялся себе, что невинная девушка и порядочная семья не станут жертвой обмана со стороны негодяя. Вы знаете, что наше объяснение было немногословным; но ваша роковая страсть

сделала тщетными усилия, которые я прилагал к тому, чтобы вас спасти.

Генриет замолчал. Я сидела, опустив голову, и была совершенно подавлена: мне казалось, что я уже не смогу никому смотреть в лицо. Генриет продолжал:

— Леони ловко вышел из положения, похитив свою невесту у меня же на глазах, иначе говоря — украв миллион в тех бриллиантах, которые были на ней. Он спрятал и вас и ваши драгоценности неизвестно где. Проливая слезы над несчастной судьбою дочери, ваш отец плакал отчасти и над своими прекрасно оправленными бриллиантами. Как-то однажды он наивно признался в моем присутствии, что более всего его удручает в этой краже одно обстоятельство: эти драгоценности будут, несомненно, проданы за полцены какому-нибудь еврею, а эти чудесные оправы, такой тонкой работы, будут сломаны и расплавлены их укрывателем, который не захочет себя выдать. «Стоило после этого так трудиться! — говорил он со слезами на глазах. — Стоило иметь дочь и так любить ее!»

Отец ваш был, видимо, прав. Ибо на вырученные из краденного деньги Леони смог блестяще прожить в Венеции всего лишь три месяца. Родовое палаццо ко времени его приезда оказалось проданным и теперь сдавалось внаем. Он снял его и, как говорят, восстановил свое имя на карнизе внутреннего двора, не осмеливаясь поместить его над главным входом. Поскольку очень мало кто определенно знает, что он жулик, его дом снова сделался местом встреч многих порядочных людей, которых там, несомненно, одурачивали его сообщники. Но, должно быть, опасение, что его могут разоблачить, помешало ему к ним присоединиться, так как в скором времени он снова разорился. Он ограничился тем, что терпел любое разбойничество, которое эти злодеи учиняли у него в доме; он в их руках и не может отделаться от тех, кого больше всего ненавидит. Нынче он, как вам известно, общепризнанный любовник княгини Дзагароло; эта дама, когда-то очень красивая, теперь сильно поблекла и обречена в недалеком будущем на смерть от чахотки... Полагают, что она завещает все свое состояние Леони, который прикидывается безумно влюбленным в нее и которого сама она страстно любит. Он же подстерегает час завещания. Тогда вы вновь станете богаты, Жюльетта. Он, должно быть, уже говорил вам: еще немного терпения,

и вы замените княгиню в ее театральной ложе; вы будете выезжать на прогулку в ее колясках, вы только смените на них герб; вы будете сжимать вашего любовника в объятиях на той роскошной постели, где она умрет, и вы сможете даже носить ее платья и драгоценности.

Жестокий Генриет сказал, быть может, и еще что-нибудь, да я уже не слышала: я упала на пол в страшнейшем нервическом припадке».

«Очнувшись, я убедилась, что лежу на диване и нахожусь наедине с Леони. Он смотрел на меня нежно и озабоченно.

— Душа моя, — сказал он, увидя, что я пришла в себя, — скажи мне, что с тобою? Почему я застал тебя в таком ужасном состоянии? Что у тебя болит? Какая новая беда тебя постигла?

— Никакая, — отвечала я и говорила правду, ибо в эту минуту ни о чем не помнила.

— Ты меня обманываешь, Жюльетта, кто-то тебя обидел. Служанка, находившаяся подле тебя, когда я вошел, сказала, что какой-то мужчина заходил сюда нынче поутру, что он долго оставался с тобою и что, уходя, он поручил ей оказать тебе помощь. Кто этот человек, Жюльетта?

В жизни своей я ни разу не лгала и потому не смогла ему ответить. Я не желала назвать Генриета. Леони нахмурился.

— Тайна! — воскликнул он. — Тайна между нами! Не думал я, что ты на это способна. Но ведь ты же здесь никого не знаешь! Разве что... Если это он, то у него крови не хватит в жилах, чтобы смыть наглое оскорбление. Скажи мне, Жюльетта, приходил к тебе Шальм? Приставал ли он к тебе опять со своими гнусными предложениями или снова клеветал на меня?

— Шальм! — вскричала я. — Да разве он в Милане? — И мною овладел ужас, который, должно быть отразился на моем лице, ибо Леони понял, что я не знаю о приезде виконта.

— Если это не он, — прошептал Леони, как бы разговаривая сам с собою, — кто же может быть этот визитер, который запирается на три часа с моей женой и потом оставляет ее в обмороке. Маркиз весь день не отходил от меня ни на шаг.

— О боже, — воскликнула я, — стало быть, все ваши отвратительные приятели здесь! Сделайте, ради бога, так, чтоб они не знали, где я живу, и чтобы я их больше не видела.

— Но кто же все-таки тот мужчина, что бывает у вас и кому вы не отказываете в праве переступить порог вашей комнаты? — спросил

Леони, становясь все более задумчивым и бледнее с каждой минутой. — Жюльетта, отвечайте! Я требую, вы слышите?

Я почувствовала, что попала в ужасное положение. Я сжала руки и молча молилась.

— Вы мне не отвечаете, — сказал Леони. — Бедная женщина! Вы плохо владеете собой. У вас есть любовник, Жюльетта! Что ж, вы правы, раз у меня есть любовница. Я дурак, если не могу этого перенести ведь вы же согласились на то, чтобы я делил сердце и постель с другой. Но я, разумеется, не могу быть столь великодушным. Прощайте!

Он взял шляпу и надел перчатки, как-то судорожно и вместе с тем безучастно; затем вынул свой кошелек, положил его на камин и, не сказав мне более ни слова, даже не взглянув на меня, вышел из комнаты. Я услышала, как он спускается по лестнице ровным, неторопливым шагом.

От изумления, растерянности и страха кровь застыла у меня в жилах. Мне почудилось, что я вот-вот сойду с ума; я заткнула себе рот платком, чтобы не закричать; затем усталость одолела меня, и я снова впала в состояние какого-то гнетущего оупения.

Среди ночи в комнате мне послышался шум. Я открыла глаза и, не понимая, что, собственно, происходит, увидела Леони, который нервно шагал взад и вперед, а также маркиза, который, сидя за столом, опоражнивал бутылку водки. Я не пошевелинулась. Вначале я и не пыталась вникать в то, что они тут делают. Но мало-помалу долетавшие до меня слова дошли до моего сознания и приобрели какой-то смысл.

— Повторяю тебе, я его видел, уверен в этом, — говорил маркиз. — Он здесь.

— Проклятый пес! — отозвался Леони, топнув ногой. — Пропади он пропадом, только бы от него избавиться!

— Недурно сказано, — заметил маркиз. — И я того же мнения.

— Он уже вторгается ко мне в спальню и терзает эту несчастную женщину!

— А ты уверен, Леони, что ей это так уж неприятно?

— Молчи, гадина! И не пытайся внушить мне подозрений к этой бедняжке. У нее ничего не остается на свете, кроме моего уважения.

— И любви господина Генриета, — подхватил маркиз.

Леони сжал кулаки.

— Мы ее избавим от этой любви, — вскричал он, — и излечим от нее фламандца!

— Ах, Леони, только не делай глупости!

— А ты, Лоренцо, не делай подлости!

— И ты называешь это подлостью? У нас, видно, разные представления о ней. Ты преспокойно сводишь в могилу свою Дзагароло, чтобы унаследовать ее состояние, и вместе с тем ты счел бы предосудительным, если бы я спровадил на тот свет врага, чье существование сковывает нас по рукам и ногам. Тебе кажется вполне естественным, несмотря на запрет врачей, щедро дарить свою нежность бедной чахоточной и тем ускорять конец ее страданий...

— Иди к черту! Если этой иступленной угодно быстрее жить и вскоре умереть, к чему я буду ей мешать? Она достаточно хороша, чтобы находить меня всегда послушным, а я недостаточно люблю ее, чтобы ей противиться.

— Какой ужас! — шепнула я, и голова моя снова упала на подушку.

— Твоя жена как будто что-то сказала, — заметил маркиз.

— Она бредит, — отвечал Леони, — у нее жар.

— А ты уверен, что она нас не подслушивает?

— Нужно прежде всего, чтобы у нее достало силы нас подслушивать. Она тоже очень больна, бедняжка Жюльетта! Она не жалуется, она страдает молча. У нее нет двадцати горничных, которые бы ей прислуживали, она не платит любовникам за то, чтобы те потворствовали ее болезненным причудам: она умирает целомудренно, как святая, подобно искупительной жертве между небом и мною.

Тут Леони присел на край стола и разрыдался.

— Вот что делает водка, — спокойно заметил маркиз, поднося рюмку ко рту. — Я это предсказывал, выпивка всегда будоражит тебе нервы.

— Оставь меня в покое, грубое животное! — воскликнул Леони и толкнул стол так, что тот едва не упал на маркиза. — Дай мне поплакать. Ты же не знаешь, что такое угрызения совести, ты не знаешь, что такое любовь!

— Любовь! — произнес маркиз театрально, передразнивая Леони. — Угрызения совести! Какие звучные, какие высоко драматические слова! Когда ты отправишь Жюльетту в больницу?

— Да, ты прав, — заметил Леони с мрачным отчаянием. — Поговорим об этом, так-то лучше. Это меня устраивает, я способен на все. В больницу так в больницу! Она была так хороша, так ослепительна! Появился я — и вот до чего ее довел! Ах, я готов рвать на себе волосы!

— Полно! — сказал маркиз, немного помолчав. — Не слишком ли ты сегодня расчувствовался? Ей-ей, кризис тянется уж больно долго... Поразмыслим теперь здраво: ты серьезно решил драться с Генриетом?

— Вполне серьезно, — отвечал Леони. — Ты ведь серьезно намереваешься его убить?

— Это другое дело.

— Это совершенно одно и то же. Он не владеет ни одним видом оружия, а я отлично владею любым из них.

— За вычетом кинжала, — отозвался маркиз, — и умения стрелять в упор из пистолета; впрочем, ты убиваешь только женщин.

— Уж этого-то мужчину я убью, — ответил Леони.

— И ты полагаешь, что он согласится с тобою драться!

— Согласится, он мужествен.

— Но он не сошел с ума. Прежде всего он добьется, чтобы нас обоих арестовали, как воров.

— Прежде всего он даст мне удовлетворение. Я намерен вынудить его на это. Я влеплю ему публично пощечину в театре.

— А он ее вернет, назвав тебя обманщиком, мошенником, шулером.

— Ему это придется доказать. Его здесь не знают, а у нас тут самое блестящее положение. Я выдам его за лунатика и фантазера. И когда я его убью, все подумают, что я был прав.

— Да ты спятил, дорогой мой, — отвечал маркиз. — У Генриета есть рекомендации ко всем самым богатым негоциантам Италии. Семья его хорошо известна и пользуется доброй славой в коммерческом мире. У него лично найдутся, несомненно, друзья в городе или по меньшей мере знакомые, для которых его слова окажутся весьма убедительными. Он будет драться завтра вечером,

предположим. Так пойми: дня ему хватит на то, чтобы сообщить двадцати человекам, что он дерется с тобою, ибо видел, как ты плутуешь в карты, а ты счел его вмешательство в твои дела неуместным.

— Пусть он это скажет, пусть ему поверят, а я его все же убью.

— Дзагароло выгонит тебя и порвет свое завещание. Вся знать закроет перед тобою двери, а полиция предложит тебе поволочиться где-нибудь в других краях.

— Ну что ж! Поеду в другие края. К моим услугам будет вся остальная часть земли, когда я избавлюсь от этого человека.

— Да, но кровь его вспоит целый выводок обвинителей. Вместо одного господина Генриета тебя будет выслеживать весь Милан.

— Боже! Что же делать? — воскликнул Леони с тоской.

— Назначить фламандцу свидание от имени твоей жены и успокоить ему кровь добрым охотничьим ножом. Дай-ка мне вон тот листок бумаги, я сейчас ему напишу.

Леони, не слушая его, открыл окно и впал в глубокую задумчивость. Маркиз тем временем писал. Окончив, он окликнул приятеля.

— Послушай-ка, Леони, и скажи, умею ли я писать любовные записки:

«Друг мой, я не могу вас больше принять у себя дома: Леони знает все и угрожает мне жестокими побоями. Заберите меня отсюда, иначе я погибла. Отвезите меня к матушке или упрячьте в какой-нибудь монастырь. Словом, делайте со мною что угодно, но только вызволите меня из того ужасного положения, в котором я сейчас нахожусь. Приходите завтра к порталу собора, в час ночи, и мы сговоримся об отъезде. Мне нетрудно встретиться с вами: Леони проводит все ночи у княгини Дзагароло. Не удивляйтесь нелепому и почти неразборчивому почерку: Леони в припадке ярости едва не вывихнул мне правую руку. Прощайте!

Жюльетта Ройтер».

— Мне сдается, что письмо это составлено благоразумно, — добавил маркиз, — и может показаться фламандцу вполне правдоподобным, какова бы ни была степень его близкого знакомства с твоей женой. Слова, которые она недавно произнесла в бреду, обращаясь, видимо, к нему, заставляют нас с уверенностью

предполагать, что он предложил отвезти ее на родину... Почерк неровен, и знает ли он руку Жюльетты или нет.

— Посмотрим, — сказал Леони, наклоняясь над столом и пристально вглядываясь в записку.

Лицо его было страшно и выражало поочередно то сомнение, то полную уверенность. Дальше я уже ничего не помню. Мозг мой изнемог, мысли спутались. Я снова впала в какую-то летаргию».

«Когда я пришла в себя, тусклый свет лампы освещал все те же предметы. Я медленно приподнялась на постели и увидела, что маркиз сидит на том самом месте, на котором сидел, когда я потеряла сознание. Была еще ночь. На столе по-прежнему виднелись бутылки, письменный прибор и еще что-то, чего я не могла разглядеть и что походило на оружие. Леони стоял посреди комнаты. Я пыталась припомнить предыдущий диалог его с маркизом. Я надеялась, что обрывки омерзительных фраз, приходивших мне на память, — всего лишь клочки бредовых сновидений, и как-то не сразу поняла, что между прежним разговором и тем, что начинается сейчас, прошли целые сутки. Первые слова, которые дошли до моего сознания, были следующие:

— Он, должно быть, что-то подозревал, так как был вооружен до зубов. — Говоря это, Леони вытирал платком свою окровавленную руку.

— Полно, то, что у тебя, — всего лишь царапина, — сказал маркиз. — У меня рана в ногу посерьезнее, а мне все же придется завтра танцевать на бале, чтобы никто ни о чем не догадался. Брось твою руку, перевяжи ее и подумай лучше о другом.

— Я не могу думать ни о чем, кроме вот этой крови. Мне чудится, что вокруг меня целое кровавое озеро.

— У тебя слишком слабые нервы, Леони! Ты ни на что не годен.

— Мерзавец! — вскричал Леони с ненавистью и презрением в голосе. — Не будь меня, ты был бы мертв; ты трусливо отступал, и он, должно быть, ударил тебя сзади. Если бы я не счел тебя погибшим и если бы твоя гибель не грозила повлечь за собою мою, ни за что я не поднял бы руку на этого человека в подобный час и подобном месте. Но твое яростное упорство поневоле сделало меня твоим сообщником. Мне не хватало совершить только это убийство, чтобы оказаться достойным твоей компании.

— Не корчи из себя скромника, — отпарировал маркиз, — когда ты увидел, что он защищается, ты рассвирепел как тигр.

— Да, верно, у меня на душе стало веселее при виде того, что он умирает защищаясь; ибо в конце-то концов я убил его честно.

— Очень честно! Он уже отложил встречу на завтра; но тебе не терпелось с этим покончить, и ты его тут же уложил.

— Кто же в этом повинен, предатель? Почему же ты бросился на него в тот момент, когда мы расходились, дав друг другу слово? Почему ты удрал, увидя, что он вооружен, и заставил меня тем самым тебя защищать или же ждать, чтобы он поутру заявил, что я по уговору с тобой заманил его в ловушку? В данную минуту я заслуживаю смертной казни, и все же я не убийца. Я дрался с ним равным оружием, с равными шансами и равно мужественно.

— Да, он прекрасно защищался, — заметил маркиз, — вы проявили, и тот и другой, чудеса храбрости. Это было прекрасное и поистине великолепное зрелище — ваша дуэль на ножах. Но должен все же заметить, что для венецианца ты весьма дурно владеешь этим оружием.

— Это верно: подобным оружием я как-то не привык пользоваться. Кстати, я думаю, что было бы осторожнее спрятать или уничтожить этот нож.

— Очень глупо, друг мой! Не вздумай только это делать: твоим лакеям и твоим приятелям, всем до единого, известно, что оружие это всегда при тебе; исчезни оно, это было бы уликой против нас.

— И то верно. Ну, а твое оружие?

— Мое неповинно в его крови: сперва я несколько раз промахнулся, а после тебя мне и делать было нечего.

— О боже мой, и это верно. Убить его хотел ты, а слепой рок заставил меня совершить то, чего я так гнушался.

— Тебе по сердцу эти слова, мой милый, но шел ты на свидание весьма охотно.

— В самом деле, у меня было какое-то инстинктивное предчувствие того, что я совершу по воле моего злого гения... Да в конце концов такова, видимо, была судьба и его и моя. Все же мы от него избавились. Но почему, черт возьми, ты очистил его карманы?

— Это все моя осторожность и выдержка. Обнаружив, что он ограблен, не найдя при нем ни денег, ни бумажника, убийцу будут искать среди самого низкого люда и никогда не заподозрят людей приличных. Случай этот сочтут разбойничьим нападением, а вовсе не

личной мезтью. Только не выдай себя каким-нибудь дурацким волнением, когда завтра ты услышишь рассказ об этом происшествии, а так нам бояться нечего. Пододвинь-ка свечу, чтобы я сжег эти бумаги; ну, а звонкая монета никогда еще никого не компрометировала.

— Пстой! — вскрикнул Леони, схватив какое-то письмо, которое маркиз собирался сжечь с другими бумагами. — Я прочел на нем фамилию Жюльетты.

— Это письмо к госпоже Ройтер, — сказал маркиз. — Прочтем-ка его:

«Сударыня, если еще не поздно, если вы не уехали уже вчера, получив письмо, в котором я звал вас поспешить к вашей дочери, не выезжайте. Ждите ее дома или встречайте в Страсбурге; по приезде туда я вас буду разыскивать. Буду там с мадемуазель Ройтер через несколько дней. Она решила бежать от окружающего ее позора и от грубостей ее соблазнителя. Я только что получил записку, в которой она наконец извещает меня о своем решении. Я должен увидеться с нею нынче ночью, чтобы уточнить время нашего отъезда. Брошу все свои дела и воспользуюсь добрым расположением духа, в котором она находится и которое льстивые посулы ее любовника могут быстро нарушить. Его влияние на нее все еще огромно. Боюсь, как бы страсть, которую она питает к этому презренному человеку, не оказалась страстью на всю жизнь и как бы горечь от разрыва с ним не заставила бы еще и ее и вас проливать обильные слезы. Будьте снисходительны и добры к ней, встретьте ее по-хорошему: вам это положено по долгу матери, и вы его выполните без труда. Что до меня, я суров, и мне легче выразить негодование, нежели жалость; я хотел бы, но не могу проявить большую приветливость, и мне не суждено быть любимым.

Пауль Генриет».

— Это доказывает, о друг мой, — насмешливо произнес маркиз, поднося письмо к пламени свечи, — что жена тебе верна и что ты — счастливейший из супругов.

— Бедная жена! — молвил Леони. — Бедный Генриет! Он дал бы ей счастье. Он бы уважал и почитал ее по меньшей мере! Какой злой рок бросил ее в объятия жалкого авантюриста, фатально стремившегося к ней с одного конца света на другой, тогда как подле

нее билось сердце порядочного человека! Слепое дитя! Почему твой выбор пал на меня?

— Очаровательно! — иронически заметил маркиз. — Надеюсь, ты напишешь по этому поводу стихи. Изящная эпитафия человеку, которого ты зарезал нынче ночью, думается мне, была бы чем-то совершенно новым и не лишенным вкуса.

— Да, я сочиню ему эпитафию, — сказал Леони, — и текст ее будет звучать так:

«Здесь покоится порядочный человек, который пожелал быть поборником человеческого правосудия против двух злодеев и которому божественное правосудие дало пасть от их руки».

Леони предался горестным размышлениям, беспрестанно нашептывая при этом имя своей жертвы.

— Пауль Генриет! — твердил он. — Двадцати двух — двадцати четырех лет, не больше. Черты лица холодны, но красивы. По характеру крут и порядочен. Ненавидел несправедливость. До грубости превозносил честность, но было в нем все же что-то нежное и грустное. Любил Жюльетту, он всегда ее любил. Тщетно он боролся со своей страстью. По этому письму видно, что он все еще ее любил и обожал бы ее, если бы сумел излечить. Жюльетта, Жюльетта! Ты бы еще могла быть с ним счастлива, да я его убил. Я отнял у тебя того, кто мог тебя утешить. Твоего единственного заступника нет в живых, и ты по-прежнему во власти бандита!

— Превосходно! — сказал маркиз. — Хотелось бы, чтоб за малейшим движением твоих губ следил неотлучный стенограф ради сохранения всего того благородного и трогательного, что ты произносишь. Что до меня, я пошел спать. Покойной ночи, мой милый, ложись с женой, но смени рубашку: черт побери, на твоём жабо кровь Генриета!

Маркиз ушел. Леони с минуту не шевелился, затем подошел к моей кровати, приподнял полог и взглянул на меня. И тут он увидел, что, укрытая одеялом, я лежу в полудремоте, но что глаза у меня открыты и глядят на него. Смотреть на мое мертвенно-бледное лицо оказалось ему не под силу, моего пристального взгляда он не вынес. Вскрикнув от ужаса, он отшатнулся, а я слабым и прерывающимся голосом несколько раз ему повторила:

— Убийца! Убийца! Убийца!

Он упал на колени, словно сраженный молнией, и с умоляющим видом подполз к моей кровати.

— «Ложись с женой, — шепнула ему я, повторяя слова маркиза в каком-то бреде, — но смени рубашку: на твоём жабо кровь Генриета».

Леони упал ничком на пол, издавая нечленораздельные крики. Разум мой совсем помутился, и я, помнится, стала вторить его крикам, тупо подражая с какой-то рабской точностью звукам его голоса и его судорожным всхлипываниям. Он решил, что я помешалась, и в ужасе, вскочив на ноги, устремился ко мне. Мне почудилось, что он сейчас меня убьёт: я бросилась за спинку кровати, крича: «Пощади! Пощади! Я ничего не скажу!» — и лишилась чувств в ту минуту, когда он, не давая мне упасть, подхватывал меня на руки, чтобы оказать помощь»

«Я очнулась в его объятиях, и никогда еще он не был столь красноречив, столь нежен и не проливал столь обильных слез, умоляя о прощении. Он признал себя самым низким человеком; единственное, сказал он, что возвышает его в его собственных глазах, — это любовь ко мне, и что ни один порок, ни одно преступление не смогли ее заглушить. До той поры он отбивался от обвинений, которые основывались на внешних фактах, уличавших его на каждом шагу. Он боролся против очевидности ради того, чтобы сохранить мое уважение. Отныне, будучи уже не в состоянии прикрываться явной ложью, он, желая растрогать и сломить меня, избрал иной путь и выступил в новой роли. Он отбросил всякое притворство (пожалуй, следовало бы сказать — всякий стыд) и признался мне во всех гнусных поступках, совершенных им в жизни. Но и на дне этой пропасти он сумел показать и пояснить мне то поистине прекрасное, что было ему присуще: способность любить, неиссякаемую силу души, чей священный огонь не могли угасить ни самая жестокая усталость, ни самые грозные испытания.

— Поведение мое подло, — говорил он, — но сердце мое всегда благородно: при любом своем заблуждении оно кровоточит; оно сохранило столь же пылким, столь же чистым, как и в пору ранней юности, чувство справедливого и несправедливого, ненависть к творимому им злу, восторг перед чарующим его прекрасным. Твое терпение, твое целомудрие, твоя ангельская доброта, твое милосердие, столь же безграничное, как и милосердие божье, не смогут пойти на пользу никому, кто бы их лучше понимал и больше ими восхищался, нежели я. Человек нравственный и совестливый нашел бы их естественными и ценил бы меньше. В союзе с ним, впрочем, ты была бы попросту порядочной женщиной; с таким, как я, ты — женщина возвышенной души, и дань признательности, что скапливается в моем сердце, столь же огромна, как твои страдания и жертвы. Ведь это что-нибудь да значит, когда тебя так любят, когда ты имеешь право на такую безмерную страсть! От кого другого, кроме меня, ты смогла бы ее потребовать? Ради кого ты вновь пошла бы на испытанные тобою

мучения и отчаяние? Думаешь, на свете есть что-либо ценное, помимо любви? Что до меня, я этого не думаю. А думаешь, легко внушить и испытать истинную любовь? Тысячи людей умирают неполноценными, не познав иной любви, кроме животной: нередко тот, чье сердце способно сильно чувствовать, тщетно ищет, кому его отдать, и, оставаясь девственным после всех земных объятий, надеется, быть может, найти себе отклик на небесах. О, когда господь дарует нам на земле это глубокое, бурное, несказанное чувство, не нужно, Жюльетта, ни ждать, ни жаждать рая: ибо рай — это слияние двух душ в поцелуе любви. И не столь важно, в чьих объятиях нашли мы его здесь — святого или отверженного! Проклинают или обожают люди того, кого ты любишь, — что тебе за дело, ежели он платит любовью за любовь? Ты любишь меня или шум, поднятый вокруг моего имени? Что ты любила во мне с самого начала? Неужто блеск, который меня окружал? Если теперь ты меня ненавидишь, мне должно сомневаться в твоей прежней любви: вместо ангела, вместо принесшей себя в жертву мученицы, чья пролитая ради меня кровь, капля по капле, непрестанно сочится мне на губы, я должен отныне видеть в тебе лишь бедную девушку, доверчивую и слабую, которая полюбила меня из тщеславия и бросает из себялюбия. Жюльетта, Жюльетта, подумай, что ты сделаешь, если меня покинешь! Ты покинешь единственного друга, который тебя знает и чтит, ради общества, которое тебя уже презирает и чьего уважения тебе уже не вернуть. У тебя нет никого на свете, кроме меня, бедное дитя мое: тебе остается либо связать свою судьбу с судьбою авантюриста, либо умереть позабытой в монастыре. Если ты уйдешь от меня, ты будешь жестокой и безумной. За плечами у тебя будут одни невзгоды, одни горести любви, а радостей ее ты не пожнешь: ибо если теперь, невзирая на все тебе известное, ты сможешь еще меня любить и мне сопутствовать, знай, что я буду питать к тебе такую любовь, какую ты себе и не представляешь и о какой я сам никогда не подозревал бы, будь ты мне законной женою и живи я с тобою безмятежно, в лоне семьи. До сих пор, несмотря на все, чем ты пожертвовала, что ты выстрадала, я не любил тебя еще той любовью, на которую чувствую себя способным. Ты меня еще не любила таким, какой я на самом деле: ты привязалась к мнимому Леони, в котором ты ценила еще некоторое достоинство и известное обаяние. Ты надеялась, что он со

временем станет тем, кого ты полюбила вначале. Ты не предполагала, что сжимаешь в объятиях человека, окончательно погибшего. А я думал: она любит меня лишь условно; она еще любит не меня, а лишь того, кого я играю. Когда, заглянув под маску, она увидит мои истинные черты, она придет в ужас от любовника, которого прижимала к груди, и убежит от него без оглядки. Нет, она не та женщина, не та возлюбленная, о которой я мечтал и которую моя пылкая душа зовет в своих порывах. Жюльетта еще принадлежит тому обществу, которому я враг; узнав меня, она станет моим врагом. Я не могу открыться ей, я не могу поверить ни одному живому существу то самое ужасное, что меня терзает, — стыд за все мерзости, что я творю изо дня в день. Я страдаю, укоров совести скапливается все больше. Если бы на свете жило такое создание, которое способно полюбить меня, не требуя, чтобы я изменился, если бы у меня оказалась подруга, которая бы не стала моим обвинителем и судьей!.. Вот о чем я думал, Жюльетта! Я молил небо о такой подруге; но я молил, чтобы ею была только ты, а не другая, ибо тебя я уже любил больше всего на свете, хотя еще и не понимал, что именно нам — и тебе и мне — предстоит сделать, чтобы полюбить друг друга истинной любовью.

Что я могла ответить на такие слова? Я глядела на него, совершенно ошеломленная. Я изумлялась тому, что все еще нахожу его красивым, что он мне все еще мил, что близость его все так же волнует меня, что я все так же жажду его ласк, все так же благодарна ему за любовь. Отвратительные поступки не оставили никакого следа на его благородном лице; и, чувствуя на себе пламенный взгляд его больших черных глаз, я испытывала былой восторг, былое опьянение; все порочащее его исчезло, стерлись даже и пятна крови Генриета. Я забыла обо всем, чтобы вновь связать себя с ним неосторожными обещаниями, безумными клятвами и объятиями. И в самом деле, как он и предсказывал, в нем вспыхнула заново, точнее — к нему вернулась его прежняя страсть. Он почти порвал с княгиней Дзагароло и, пока я выздоравливала, находился все время подле меня, выказывая ту же нежность, ту же заботливость и чуткость, которые доставили мне столько счастья в Швейцарии; могу даже сказать, что эти знаки нежного внимания теперь усилились, доставляя мне еще большую радость и гордость, что это была самая счастливая пора моей жизни и что никогда еще Леони не был мне столь дорог. Я была

убеждена в искренности его слов; впрочем, я не могла больше опасаться, что он привязан ко мне из каких-либо корыстных побуждений; ибо у меня уже не было ровным счетом ничего и отныне я жила лишь его попечением и подвергалась превратностям его собственной судьбы. Наконец, я гордилась и тем, что мое великодушие оказалось не ниже его ожиданий, и его признательность представлялась мне более значительной в сравнении с моими жертвами.

Однажды вечером он вернулся крайне взволнованный и, без устали прижимая меня к груди, сказал:

— Жюльетта, сестра моя, жена моя, ангел мой, ты должна быть доброй и милосердной, как сам господь бог, ты должна дать мне новое доказательство твоей чудесной кротости и самоотверженности: ты должна переселиться вместе со мною к княгине Дзагароло.

Я отпрянула от него, крайне изумленная, в полном смятении; и, чувствуя себя уже не в силах в чем-либо отказать ему, я лишь побледнела и задрожала, как осужденный перед казнью.

— Послушай, — сказал он, — княгиня страшно плоха. Из-за тебя я совершенно ее забросил; испытание это оказалось для нее столь мучительным, что ее болезнь значительно ухудшилась, и теперь врачи уверяют, что жить ей осталось не больше месяца. Ты знаешь все... и я могу говорить с тобою об этом проклятом завещании. Речь идет о наследстве в несколько миллионов, а у меня его оспаривают родственники княгини, которые только и ждут решительного часа, чтобы прогнать меня, воспользовавшись моими промахами. Завещание в должной форме составлено на мое имя, но минутная досада может погубить все. Мы разорены, в этих деньгах — наше единственное спасение. Если они от нас уйдут, тебе останется только лечь в больницу, а мне — стать во главе разбойничьей шайки.

— О боже мой! — воскликнула я. — Мы жили в Швейцарии, довольствуясь столь малым. Почему богатство стало для нас необходимым? Теперь, когда мы так искренне любим друг друга, неужто мы не можем жить счастливо, не совершая новых подлостей?

В ответ он лишь судорожно сдвинул брови, как бы выражая этим боль, тоску и тревогу, вызванные в нем моими упреками. Я тотчас умолкла и спросила его, чем я могу быть полезной для успешного завершения того, что он задумал.

— Дело в том, что княгиня в припадке ревности, достаточно обоснованной, выразила желание тебя увидеть и поговорить с тобою. Мои недруги не преминули сообщить ей, что я провожу каждое утро в обществе молодой и красивой женщины, приехавшей вслед за мною в Милан. На некоторое время мне удалось убедить ее, что ты моя сестра; но вот уже месяц, как я почти перестал ее навещать; у нее появились сомнения, и она отказывается верить, что ты больна, на что я сослался, как на вполне извинительный предлог. Сегодня она мне заявила, что если, несмотря на ее теперешнее состояние, я стану о ней забывать, то она не будет больше верить в мою привязанность и лишит меня своего расположения. «Если ваша сестра тоже нездорова и не может обойтись без вашего ухода, — сказала она, — перевезите ее ко мне в дом. Моя женская прислуга и мои врачи позаботятся о ней. Вы сможете видеться с нею в любое время, и, если она действительно ваша сестра, я буду любить ее точно так же, как если бы она была и моею». Тщетно я пытался бороться с такой странной причудой. Я сказал ей, что ты очень бедна и очень горда и ни за что на свете не согласишься воспользоваться ее гостеприимством, что и в самом деле было бы как-то неподобающе и нескромно, если бы ты поселилась под кровом любовницы твоего брата. Она и слышать ничего не хочет и на все мои возражения твердит: «Я вижу, что вы меня обманываете: она вам не сестра». Если ты откажешься, мы погибли. Пойдем же, пойдем! Умоляю тебя, дитя мое, пойдем!

Я молча взяла свою шляпу и шаль. Пока я одевалась, слезы медленно струились у меня по щекам. Когда мы уже собрались выходить из дому, Леони осушил их своими поцелуями, подолгу сжимая меня в объятиях и называя своею благодетельницей, своим ангелом-хранителем и единственным другом.

С дрожью в теле прошла я по обширным апартаментам княгини. При виде богатого убранства этого дома я почувствовала, как сердце мое сжимается в невыразимой муке, и припомнила жесткие слова Генриета: «Когда она умрет, вы будете богаты, Жюльетта; к вам перейдет по наследству ее роскошь, вы будете спать на ее постели и сможете носить ее платья». Проходя мимо лакеев, я опустила глаза: мне показалось, что они смотрят на меня с ненавистью и завистью, и я почувствовала себя еще более мерзкой, чем они.

Ведя меня под руку, Леони заметил, что я вся дрожу и что ноги мои подкашиваются.

— Мужайся, мужайся! — шепнул он мне.

Наконец мы вошли в спальню. Княгиня полулежала в шезлонге и, по-видимому, ждала нас с нетерпением. Это была женщина лет тридцати, очень худая и совершенно желтая; на ней был пеньюар, но и в нем она казалась необычайно элегантной. В ранней молодости она, должно быть, отличалась поразительной красотой, и лицо ее привлекало еще своей обаятельностью. Из-за худобы щек особенно выделялись ее огромные глаза, и остекленевшие под влиянием изнурительного недуга белки отливали перламутром. Тонкие, прямые пшенично-черные волосы казались такими же болезненно-хрупкими, как и она сама. При виде меня она слабо вскрикнула от радости и протянула мне длинную, исхудавшую, иссиня-бледную руку, которую я вижу как сейчас. По взгляду Леони я поняла, что мне надлежит поцеловать эту руку, и молча подчинилась.

Леони, по-видимому, тоже было не по себе, и вместе с тем его самоуверенность и внешняя невозмутимость поразили меня.

Он рассказывал своей любовнице обо мне так, будто она никогда не смогла бы раскрыть его обман, и был так нежен с ней в моем присутствии, словно это не могло причинить мне боль или досаду. Порою казалось, что в душе княгини вновь пробуждается недоверие, и по ее взглядам и словам я поняла, что она пристально изучает меня, чтобы рассеять или укрепить свои подозрения. Но так как моя природная кротость исключала возможность какой бы то ни было ненависти с ее стороны, она быстро почувствовала ко мне доверие: будучи подвержена бурным вспышкам ревности, она решила, что ни одна женщина не могла бы согласиться на роль, которую взяла на себя я. На это, пожалуй, пошла бы интриганка, но весь мой облик и манера держаться опровергали подобное предположение. Постепенно княгиня страстно привязалась ко мне. Она пожелала, чтобы я уже не уходила из ее спальни; она была со мною необычайно ласкова и осыпала меня подарками. Вначале ее щедрость показалась мне несколько оскорбительной; мне не хотелось принимать от нее такие знаки внимания, но боязнь, что это может не понравиться Леони, заставила меня и на сей раз стерпеть унижение. То, что мне пришлось вытерпеть в первые дни, усилия, которые я прикладывала к тому,

чтобы как-то приглушить в себе голос самолюбия — все это вещи неслыханные. Но мало-помалу терзания мои улепись, и мое душевное состояние сделалось сносным. Леони выказывал мне украдкой страстную признательность и безграничную нежность. Княгиня, невзирая на все ее причуды, нетерпеливость и всю ту боль, которую причиняла мне ее любовь к Леони, стала для меня существом приятным и почти что дорогим. Сердце у нее было скорее пылкое, чем нежное, и щедрость ее походила, пожалуй, на расточительность; но во всех ее движениях сквозило неотразимое обаяние; остроумие, которым так и искрилась ее речь, даже в минуты самых жестоких страданий, изумительно ласковые слова, которые она подбирала, когда благодарила меня за любезность или просила извинить за вспышку, ее лестные и тонкие замечания, кокетливость, так и не покидавшая ее до гроба, — все в ней носило отпечаток какого-то неподдельного благородства и изящества, поражавших меня тем более, что я никогда еще не видела вблизи женщин ее круга и не испытывала на себе того огромного очарования, которое им сообщает принадлежность к высшему обществу. Она владела этим даром до такой степени, что я не могла устоять против него и всецело ему поддалась; она так лукаво и мило болтала с Леони, что я поняла, отчего он так влюбился в нее, и без особого возмущения свыклась в конце концов с тем, что они целуются в моем присутствии и говорят друг другу банальные нежности. Бывали даже такие дни, когда и он и она вели беседу настолько изящно и остроумно, что мне доставляло удовольствие их слушать, причем Леони умудрялся делать мне такие тонкие признания, что я почитала себя счастливой при всей крайней униженности своего положения. Ненависть, которую питали ко мне поначалу лакеи и остальная прислуга, быстро прошла, потому что я постоянно отдавала им те небольшие подарки, которые мне делала их госпожа. Я снискала даже любовь и доверие племянников и кузенов больной; очень хорошенькая маленькая племянница, которую княгиня упорно не желала видеть, наконец вошла благодаря мне в спальню своей тетки и необычайно той понравилась. Тогда я попросила разрешения подарить девочке небольшой ларец, который княгиня заставила меня принять в то утро, и этот великодушный жест побудил ее сделать девочке гораздо более внушительный подарок. Леони, у которого при всей его алчности не было никакой мелочности и

скарденности, от души порадовался помощи, оказанной бедной сиротке; другие родственники поверили, что им не следует нас бояться и что мы питаем к княгине искреннюю, бескорыстную дружбу. Таким образом, попытки разоблачить меня совершенно прекратились, и в течение двух месяцев жизнь наша текла тихо и мирно. Я удивлялась тому, что чувствую себя почти счастливой».

«Единственное, что меня не на шутку тревожило, так это постоянное присутствие среди нас маркиза де ***. Он сумел попасть, уже не знаю, на каких правах, в дом княгини и забавлял ее своей едкой и злой болтовней. Посплетничав, он нередко уводил Леони в другие комнаты и подолгу беседовал с ним, после чего тот всегда делался мрачным.

— Ненавижу и презираю Лоренцо, — говаривал мне он, — это худший негодяй, какого я только знаю, он способен на все.

Я настойчиво убеждала его порвать с маркизом, но он мне отвечал:

— Это невозможно, Жюльетта; ты ведь знаешь, что когда двое мошенников действовали заодно, то после ссоры между ними один другого отправляет на эшафот.

Эти зловещие слова, столь неуместные в этом чудесном дворце, где мы так мирно жили, звучали почти что под ухом нашей милой, доверчивой княгини, и, слушая их, я чувствовала, как кровь леденеет у меня в жилах.

Меж тем страдания нашей больной усиливались день ото дня, и наконец настал час, когда она неминуемо должна была расстаться с жизнью. Она медленно угасала на наших глазах, но ни на минуту не теряла самообладания, не переставая шутить и дружески беседовать с нами.

— Как мне досадно, — говорила она Леони, — что Жюльетта — твоя сестра! Теперь, когда я ухожу в иной мир, мне надлежит отказаться от тебя. Я не могу ни желать, ни требовать, чтобы ты оставался мне верен после моей смерти. К сожалению, ты наделаешь глупостей и бросишься на шею женщины, которая тебя недостойна. Я не знаю на свете никого, кроме твоей сестры, кто бы тебе был под пару: она ангел, и только ты один достоин ее.

Я не могла оставаться равнодушной к таким благожелательным, ласковым словам и привязывалась к этой женщине все больше, по мере того как смерть воздвигала преграду между ней и нами. Мне не хотелось верить, что ее могут у нас отнять, со всем ее умом и

миролюбием, когда между нами возникла такая тесная, нежная дружба. Я задумывалась над тем, как мы сможем жить без нее, и не могла себе представить, что ее большое золоченое кресло между Леони и мною окажется вдруг пустым, — при этой мысли на глаза у меня навертывались слезы.

Однажды вечером, когда я ей читала, а Леони, сидя на ковре, согревал ее ноги муфтой, она получила письмо, быстро пробежала его, громко вскрикнула и лишилась чувств. Я бросилась ей на помощь, а Леони подобрал письмо и прочел его. Хотя почерк был явно подделан, он узнал руку виконта де Шальма. Это был донос на меня, где приводились обстоятельные подробности касательно моей семьи, моего похищения, моих отношений с Леони, а также немало гнусных клеветнических утверждений по поводу моего характера и безнравственного образа жизни.

Не успела княгиня вскрикнуть, как неведомо откуда появился Лоренцо, который буквально парил вокруг нас, подобно зловещей птице, и Леони, отойдя с ним в угол, показал ему письмо виконта. Когда они снова подошли к нам, маркиз был очень спокоен, и на губах его играла обычная усмешка, а Леони, крайне взволнованный, вопросительно глядел на него, словно ожидая совета.

Я поддерживала княгиню, которая все еще была без памяти. Маркиз пожал плечами.

— Твоя жена невыносима глупа, — сказал он достаточно громко, чтобы я слышала. — Ее присутствие здесь может произвести теперь лишь самое дурное впечатление. отошли ее, пусть она позовет кого-нибудь на помощь. Обо всем позабочусь я.

— Но что ты собираешься делать? — спросил Леони с крайней тревогой в голосе.

— У меня есть уже давно припасенное верное средство: это такая бумага, которая всегда при мне. Но только выпроводи Жюльетту.

Леони попросил меня сходить за горничными; я подчинилась и осторожно опустила голову княгини на подушку. Но в ту минуту, когда я уже собиралась переступить порог комнаты, какая-то неведомая магнетическая сила остановила меня и заставила вернуться. Я увидела, как маркиз подходит к больной, словно желая ей чем-то помочь; но лицо его показалось мне таким отвратительным, а лицо Леони таким бледным, что мне стало страшно оставлять

умирающую наедине с ними. Не знаю, какие смутные догадки промелькнули у меня в голове; я быстро подошла к постели и, с ужасом взглянув на Леони, сказала ему:

— Берегись, берегись!..

— Чего? — спросил он изумленно.

Но я и сама толком не знала, и мне стало стыдно за то, что я поддалась какой-то вспышке безумия. Насмешливая физиономия маркиза окончательно сбила меня с толку. Я вышла и через минуту вернулась с горничными и врачом. Он застал княгиню в состоянии страшного нервного припадка и сказал, что ей надо дать проглотить ложку успокоительного. Тщетно пытались разжать ей зубы.

— Пусть это сделает синьора, — сказала одна из горничных, указывая на меня. — Княгиня принимает все только из ее рук и никогда не отказывается от того, что синьора ей предлагает.

Я попробовала это сделать, и умирающая кротко уступила мне. По не утраченной еще привычке она, возвращая ложку, слабо пожала мне пальцы; затем резко вытянула руки, встала во весь рост, словно собираясь выбежать на середину комнаты, и замертво упала в кресло.

Эта столь внезапная смерть произвела на меня ужасающее впечатление: я упала в обморок, и меня унесли. Болела я несколько дней; когда я совсем оправилась, Леони сообщил мне, что отныне я у себя дома, что завещание вскрыли, и оно оказалось неоспоримым по всем пунктам, что теперь мы владеем прекрасным состоянием и являемся хозяевами великолепного палаццо.

— Всем этим я обязан тебе, Жюльетта, — сказал он мне, — я обязан тебе еще тем, что могу спокойно, без стыда и угрызений совести вспоминать о последних минутах нашей подруги. Благодаря твоему мягкосердечию, твоей ангельской доброте она была окружена нежными заботами, которые смягчили ей горечь кончины. Она умерла у тебя на руках, эта соперница, которую любая другая на твоём месте задушила бы, а ты ее оплакиваешь, словно родную сестру. Ты добрая, слишком, слишком добрая! Воспользуйся же теперь плодами твоего мужества! Взгляни, как я счастлив, что опять богат и могу снова создать весь необходимый тебе комфорт.

— Молчи, — отвечала я, — именно теперь мне стыдно и больно. Пока эта женщина была жива, пока я жертвовала ей любовью и достоинством, я утешала себя тем, что привязана к ней и иду на

самоотречение ради нее и ради тебя. Теперь же я вижу только всю измененность и гнусность моей тогдашней роли. О, как все должны нас презирать!

— Ты жестоко ошибаешься, моя бедная девочка, — возразил Леони, — все нас приветствуют и выказывают нам почтение, потому что мы богаты.

Но Леони недолго праздновал свою победу. Приехавшие из Рима разъяренные сонаследники, узнав подробности этой скоропостижной смерти, обвинили нас в том, что мы ее ускорили, отравив больную, и потребовали эксгумации тела, чтобы убедиться в своих предположениях. При вскрытии были тотчас же обнаружены следы сильнодействующего яда.

— Мы погибли! — сказал Леони, входя ко мне в комнату. — Ильдегонда умерла от отравления, и в этом обвиняют нас. Кто совершил эту мерзость? Не нужно и спрашивать: это сам дьявол в образе Лоренцо. Вот каковы его услуги

— он в безопасности, а мы отданы в руки правосудия. Хватит ли у тебя мужества выброситься из окна?

— Нет, — ответила я, — я в этом неповинна, мне нечего бояться. Если вы виновны, бегите.

— Я невиновен, Жюльетта, — сказал он, сильно стиснув мне локоть. — Не обвиняйте меня, когда я сам себя не обвиняю. Вы же знаете, что к себе я обычно беспощаден.

Нас арестовали и бросили в тюрьму. Против нас возбудили уголовное дело; но допрос тянулся не так уж долго и оказался не столь суровым, как мы того ожидали: наша невинность нас спасла. Выслушав ужасное обвинение, я сумела обрести всю ту душевную силу, которую дает только чистая совесть. Моя молодость и искренность сразу же расположили ко мне судей. Меня быстро оправдали. Честь и жизнь Леони находились под угрозой несколько дольше. Но, невзирая на явные подозрения, уличить его не могли, так как он был невиновен; это убийство ужасало его; и выражение лица и ответы его были тому достаточным подтверждением. Он отвел обвинение и остался незапятнанным. Заподозрили всю прислугу. Маркиз исчез, но к тому времени, как нас выпустили из тюрьмы, он тайно вернулся и потребовал от Леони, чтобы тот поделился с ним наследством. Он заявил, что мы ему обязаны всем, что, если бы не его

смелое и быстрое решение, завещание было бы разорвано. Леони обрушился на него с самыми ужасными угрозами, но маркиз ничуть не испугался. Для острастки Леони ему стоило лишь упомянуть об убийстве Генриета, совершенном у него на глазах, и он вполне мог погубить приятеля заодно с собою. Разъяренный Леони вынужден был уплатить ему значительную сумму. Затем мы снова стали вести безрассудную жизнь, щеголяя безудержной роскошью. Полгода оказалось достаточно, чтобы Леони вновь очутился на грани разорения. Я не сокрушалась, глядя на то, как исчезает богатство, нажитое стыдом и горечью, но подступавшая к нам опять нищета пугала меня из-за Леони. Я знала, что он не сможет ее перенести, и в поисках выхода опрометчиво станет на путь новых ошибок и новых опасностей. Было, к сожалению, невозможно привить ему сдержанность и предусмотрительность: на все мои просьбы и предупреждения он отвечал ласками и шутками. В его конюшне стояло пятнадцать английских лошадей, он держал открытый стол, и весь город обедал у него, к его услугам был целый оркестр. Но быстрее всего разоряли Леони огромные суммы денег, которые он дарил своим прежним приятелям, чтобы те не обрушивались на него и не делали из его дома воровского притона. Он потребовал от них, чтобы, являясь к нему, они не занимались своими аферами; и за то, что они уходили из гостиной, когда там садились играть, он был вынужден ежедневно давать им отступного. Эта несносная зависимость внушала ему подчас желание порвать со светом и удалиться со мною в какое-нибудь тихое и укромное место. Но, по правде говоря, такая мысль пугала его еще больше, ибо чувство, которое я ему внушала, было недостаточно сильно, чтобы заполнить всю его жизнь. Со мною он был всегда предупредителен, но, так же как в Венеции, он покидал меня, чтобы упиваться всеми уладами, которые дает богатство. Вне дома он вел самую распущенную жизнь и содержал нескольких любовниц, которых выбирал среди самого изящного круга, которым подносил роскошные подарки и чье общество льстило его ненасытному тщеславию. Идя на низкие и подлые поступки ради обогащения, он был великолепен в своей расточительности. Его неустойчивый характер менялся в соответствии с тем, как складывалась его судьба, и эти перемены отражались всякий раз на его любви ко мне. Обеспокоенный,

истерзанный своими невзгодами, он исступленно искал у меня утешения, зная, что одна я на свете жалею и люблю его. Но в радости он забывал обо мне и пытался найти у других более острые наслаждения. Я знала о всех его изменах: то ли из лени, то ли из равнодушия, то ли из уверенности в моем неустанном прощении, он даже не трудился теперь их скрывать; а когда я упрекала его в том, что такая откровенность бестактна, он напоминал мне о моем отношении к княгине Дзагароло и спрашивал, уж не истощилось ли мое милосердие. Итак, прошлое обрекало меня всецело на терпение и страдание. Несправедливым в поведении Леони было то, что он полагал, будто я отныне должна приносить все эти жертвы без всяких мучений и будто женщина может выработать в себе привычку подавлять ревность...

Я получила письмо от матери, которая наконец узнала обо мне от Генриета и, собравшись уже выехать навстречу, опасно заболела. Она умоляла, чтобы я приехала поухаживать за ней, и обещала не досаждать мне при встрече упреками и проявить лишь одну признательность. Письмо это было как нельзя более ласковым и добрым. Я пролила над ним немало слез; и все же оно мне невольно казалось каким-то неподобающим: уж слишком много было в нем ненужной чувствительности и покорности. Увы! стыдно сказать: это было не великодушное прощение матери, а призыв больной, скучающей женщины. Я тотчас же отправилась в путь и застала ее при смерти. Она дала мне свое благословение, все простила и умерла у меня на руках, наказав похоронить себя в платье, которое особенно любила».

«Все эти треволнения и горести почти что притупили во мне всякую восприимчивость. По матушке я плакала мало. После того как тело ее унесли, я заперлась у ней в комнате и оставалась там, унылая и подавленная, в течение нескольких месяцев, обдумывая на тысячу ладов свое прошлое и совершенно не задавая себе вопросов о том, что станет со мною в будущем. Тетушка, встретившая меня поначалу очень неприветливо, была тронута этим немым горем, которое, по складу своего характера, она понимала гораздо лучше, нежели обильные слезы. Она молча ухаживала за мной, следя за тем, чтобы я не умерла с голоду. Грусть, веявшая от этого дома, который я помнила в пору его юности и блеска, отвечала моему душевному состоянию. Я разглядывала мебель, которая напоминала мне тысячу пустячных эпизодов моего беспечного детства. Я мысленно сравнивала то время, когда какая-нибудь царапина на моем пальце казалась трагическим происшествием, способным потрясти всю семью, с жизнью, запятнанной позором и кровью, к которой я приобщилась впоследствии. Я видела то мою мать на бале, то княгиню Дзагароло, отравленную почти что у меня на руках, а быть может, мной же самою. Во сне то мне слышались звуки скрипок, прерываемые стонами сраженного убийцами Генриета, то, во мраке тюрьмы, где в течение трех жутких месяцев я со дня на день ожидала смертного приговора, передо мною возникал, в пламени свечей и аромате цветов, мой собственный призрак, окутанный серебристым крепом, в уборе из драгоценных камней. Порою, утомленная этими смутными и страшными снами, я подходила к окну, откидывала занавески и глядела на город, где я была так счастлива и где мною так любовались, на деревьях той самой аллеи, где каждый мой шаг вызывал такое восхищение. Но вскоре я заметила, что мое бледное лицо возбуждает оскорбительное любопытство горожан. Под моим окном останавливались, собирались кучками, чтобы посудачить на мой счет, и чуть ли не указывали на меня пальцем. Тогда, задержав занавески, я отходила от окна и садилась у материнской кровати, оставаясь там до тех пор, пока тетюшка неслышной поступью не приближалась ко мне,

чтобы взять под руку и увести в столовую. Ее поведение в эту пору моей жизни казалось самым подходящим и самым великодушным, какого только можно было со мною придерживаться. Я не стала бы слушать утешений, не смогла бы снести упреков и не поверила бы в искренность знаков уважения. Немое сочувствие и сдержанное сострадание были мне больше по душе. Эта мрачная фигура, бесшумно скользившая передо мною, как тень, как воспоминание о прошлом, была единственным существом, которое не могло ни смутить, ни испугать меня. Иногда я брала ее высохшие руки и в течение нескольких минут прижималась к ним губами без единого слова, без единого вздоха. Она никогда не отвечала на эту ласку, но и не подавала признаков нетерпения, не мешая мне целовать ее руки; и это было уже много.

О Леони я вспоминала как о некоем страшном видении, которое я всеми силами старалась от себя отогнать. При одной мысли, что я могу вернуться к нему, меня охватывала дрожь, словно при виде казни. Я была уже не в силах ни любить его, ни ненавидеть. Он мне не писал, и я как-то этого не замечала, так мало я рассчитывала на его письма. Но вот однажды письмо пришло, и из него я узнала о новых бедах. Отыскалось завещание княгини Дзагароло, помеченное более поздней датой, чем наше. Один из слуг, которому она доверяла, хранил документ со дня ее смерти по нынешнее время. Она составила это завещание в ту пору, когда Леони почти не показывался у нее, заботливо ухаживая за мною, и когда у нее появились сомнения относительно наших родственных уз. Потом, примирившись с нами, она собиралась его порвать, но, будучи подвержена бесчисленным капризам, она сохранила при себе оба завещания с тем, чтобы иметь постоянную возможность оставить только одно из них. Леони знал, где именно спрятано завещание на его имя; но о существовании другого знал только Винченцо — доверенное лицо княгини, который должен был, по одному ее знаку, либо сжечь его, либо сохранить. Она не ждала, несчастная, столь внезапной насильственной смерти. Винченцо, которого Леони щедро одарил и который был ему в ту пору искренне предан, так и не мог узнать о последних намерениях княгини: он молча сохранил более позднее завещание и дал нам возможность предъявить наше. Он мог бы на этом нажиться, начав нам угрожать или продав свою тайну прямым наследникам; но

нечестность и злоба были ему чужды. Он предоставил нам воспользоваться наследством, не потребовав для себя прибавки жалованья. Но, когда я уехала, многое стало ему не нравиться: Леони был груб со слугами, и только благодаря моему мягкому обращению с ними они от нас не уходили. Однажды Леони забылся до того, что ударил старика; тот вытащил из кармана завещание и заявил, что отнесет его родственникам княгини. Ни угрозы, ни просьбы, ни предложение денег — ничто не смогло заставить его забыть оскорбление. Явился маркиз и попытался было силой вырвать у него злополучную бумагу; но Винченцо, который, несмотря на свой возраст, был человеком на редкость крепким, повалил его на пол, побил, пригрозил Леони, что вышвырнет его из окна, если тот на него нападет, и поспешил пустить в ход орудие своей мести. Леони тотчас же лишили прав и присудили выплатить все, что он успел растратить из общей суммы наследства, то есть три четверти ее. Будучи не в состоянии окончательно расквитаться с долгами, он тщетно пытался бежать. Его посадили в тюрьму, откуда он мне и писал, не вдаваясь в подробности, о которых рассказываю я и которые стали мне известны позднее, а излагал лишь в нескольких словах весь ужас своего положения. Если, мол, я не выручу его, он, возможно, будет томиться всю жизнь в самой отвратительной неволе, ибо у него нет средств доставить себе даже те немногие удобства, которыми мы могли пользоваться в пору нашего совместного заключения. Приятели позабыли о нем, радуясь, должно быть, тому, что от него избавились. Он сидел буквально без гроша, в сырой камере, где лихорадка уже подтачивала его здоровье. Драгоценности его и даже личные вещи продали, и ему почти нечем было укрыться от холода.

Я тотчас отправилась в путь. Поскольку я никогда не собиралась оставаться на всю жизнь в Брюсселе, и только апатия, вызванная горестными чувствами, приковала меня к нему на полгода, я превратила почти все свое наследство в наличные деньги. Нередко я намеревалась построить на них убежище для раскаявшихся падших девиц, а самой стать монахиней. Иной же раз я подумывала о том, чтобы перевести эти деньги во Французский банк и выделить из них для Леони неотчуждаемую ренту, которая бы избавила его от нужды и удержала бы от низких поступков. Для себя я сохранила бы скромную пожизненную пенсию и поселилась одинокой затворницей в

швейцарской долине, где воспоминания о былом блаженстве помогли бы мне переносить ужас одиночества. Узнав о новом несчастье, свалившемся на Леони, я почувствовала, что любовь и участие к нему вспыхнули во мне с новой силой. Я перевела все свое состояние в один из миланских банков. Я выделила из этой суммы лишь известный капитал, достаточный, чтобы удвоить пенсию, которую отец завещал моей тетушке. Этим капиталом, к ее вящему удовольствию, оказался дом, где мы жили и где она провела половину своей жизни. Я его отдала ей во владение и отправилась к Леони. Она не спросила меня, куда я еду: она слишком хорошо это знала. Она не попыталась меня удержать, не поблагодарила и только пожала мне руку. Но, оглянувшись, я увидела, как по ее морщинистой щеке медленно катится слеза — должно быть, первая, пролитая ею в моем присутствии».

«Я застала Леони в ужасном состоянии: он отощал, был мертвенно-бледен и почти сошел с ума. Впервые нужда и страдание буквально зажали его в тиски. До тех пор ему не раз приходилось видеть, как его благосостояние постепенно рушится, но он всегда искал и находил средства, чтобы поправить свои дела. Такого рода катастрофы в его жизни бывали огромны; но изобретательность и шальной случай никогда не заставляли его подолгу бороться с тяжелыми лишениями. Духовные силы Леони были всегда неистощимы, но они оказались сломленными, как только физические силы покинули его. Я увидела его в состоянии крайнего нервного возбуждения, сходного с буйным помешательством. Я поручилась за него перед кредиторами. Для меня было нетрудно представить доказательства своей платежеспособности, они находились при мне. Таким образом, я пришла к Леони в тюрьму лишь для того, чтобы его оттуда выволить. Радость его была столь непомерна, что он не выдержал и лишился чувств; в таком состоянии его и пришлось перенести в карету.

Я увезла его во Флоренцию и окружила там всем комфортом, на какой только была способна. После уплаты его долгов у меня мало что осталось. Я приложила все усилия к тому, чтобы он позабыл о муках заключения. Его крепкое тело быстро восстановило свои силы, но разум его так и не исцелился. Ужас мрака и тоска отчаяния оказали глубокое воздействие на этого энергичного, предприимчивого человека, привыкшего к радостям, которые дает богатство, и к тревогам жизни, полной неожиданностей. Бездействие сломило его. Он стал подвержен детским страхам, вспышкам буйной ярости; он уже не выносил никаких возражений, и самым худшим было то, что он упрекал меня за все те неприятности, от которых я не могла его избавить. Он начисто утратил силу воли, которая позволяла ему прежде безбоязненно заглядывать в самое ненадежное будущее. Теперь он страшился нищеты и ежедневно спрашивал меня, на что я рассчитываю, когда мои нынешние средства придут к концу. Я не знала, что и отвечать: меня тоже страшила недалекая развязка. Этот

час настал. Я принялась расписывать акварелью экраны, табакерки и другие небольшие предметы домашней утвари из дерева Спа. Проработав двенадцать часов в день, я получала восемь — десять франков. На мои нужды этого хватило бы, но для Леони это означало глубочайшую нищету. У него было множество самых невероятных желаний. Он горестно, яростно сетовал на то, что уже не может быть богатым. Он часто упрекал меня в том, что я уплатила его долги, а не бежала с ним, захватив все свои деньги. Чтобы его успокоить, я бывала вынуждена доказывать ему, что, совершив это мошенничество, я не смогла бы вызволить его из тюрьмы. Он подходил к окну и слал самые отвратительные проклятия богачам, проезжавшим мимо дома в своих экипажах. Он указывал мне на свою поношенную одежду и спрашивал совершенно непередаваемым тоном:

— Так ты не можешь мне заказать другое платье? Стало быть, ты не хочешь?

В конце концов он стал мне без устали повторять, что я не могу избавить его от нужды, что с моей стороны слишком эгоистично и жестоко оставлять его в этом состоянии; я решила, что он сошел с ума, и не стала пытаться его урезонивать. Каждый раз, как он к этому возвращался, я хранила молчание и скрывала от него слезы, которые только раздражали его. Он решил, что я понимаю его гнусные намеки, и назвал мое молчание бесчеловечным равнодушием и дурацким упорством. Несколько раз он меня жестоко избивал и мог бы убить, если бы ко мне не спешили на помощь. Правда, когда эти приступы ярости проходили, он бросался к моим ногам и со слезами молил о прощении. Но я по возможности избегала этих сцен примирения, ибо разнеженность приводила его к новому нервному потрясению и вызывала повторный кризис. Эта раздражительность наконец прекратилась, и на смену ей пришло мрачное и тупое отчаяние, что было еще страшнее. Он смотрел на меня исподлобья, затаив, казалось, какую-то ненависть ко мне и словно вынашивал планы мести. Порою, проснувшись среди ночи, я видела, что он стоит у моей постели; зловещее выражение его лица, казалось, говорило, что он вот-вот убьет меня, и я начинала кричать от ужаса. Но он пожимал плечами и возвращался к себе в постель, раздражаясь каким-то деревянным смехом.

Несмотря на все это, я по-прежнему его любила, но не такого, каким он стал теперь, а другого, каким он был раньше и каким мог еще снова стать. Бывали минуты, когда я верила, что эта счастливая перемена в нем произойдет и что, по миновании нынешнего кризиса, он внутренне обновится и исправится от всех своих дурных наклонностей. Он как будто уже не думал о том, чтобы их удовлетворить, и не выражал каких бы то ни было желаний или сожалений. Я никак не могла себе представить, чем вызваны долгие размышления, в которые он, казалось, теперь вечно погружен. В большинстве случаев глаза его пристально глядели на меня, причем с таким странным выражением, что мне становилось страшно. Заговаривать с ним я не осмеливалась, но мои робкие взгляды молили его о снисхождении. И тогда его глаза будто увлажнялись, и незаметный вздох вырывался из груди; он отворачивался, словно пытаясь скрыть или подавить свое волнение, и затем снова погружался в задумчивость. И я льстила себя надеждой, что теперь к нему пришли благостные мысли, что вскоре он откроет мне душу и скажет, что отныне он возненавидел порок и полюбил добродетель.

Надежды мои стали ослабевать, когда вновь появился маркиз де ***. Он никогда не бывал у нас дома, зная, какое отвращение я к нему испытываю; зато он прохаживался под окнами и вызывал Леони или подходил к дверям и как-то особо стучал, давая знать, что он здесь. Тогда Леони выходил к нему и подолгу отсутствовал. Однажды я увидела, как они несколько раз прошли по улице взад и вперед; с ними был и виконт де Шальм. «Леони погиб, — подумалось мне, — да и я тоже. Того гляди здесь произойдет какое-нибудь новое преступление».

Вечером Леони вернулся поздно; я услышала, как, расставаясь с приятелями у подъезда, он говорил им:

— А вы ей скажете, что я рехнулся, совершенно рехнулся, что, не будь этого, я никогда бы на такое не согласился. Ей надобно понять, что нищета свела меня с ума.

Я не посмела потребовать у него объяснений и подала ему скромный ужин. Он до него не дотронулся и стал нервно мешать дрова в камине. Затем он спросил у меня эфира и, приняв очень сильную дозу, лег и как будто уснул. Я всегда работала по вечерам, насколько хватало сил, не поддаваясь ни сну, ни усталости. В этот вечер я была так утомлена, что легла спать уже в полночь. Не успела я

лечь, как послышался легкий шум: мне показалось, что Леони одевается, собираясь куда-то выйти. Я окликнула его и спросила, что он делает.

— Да ничего, — отвечал он. — Мне хочется встать и подойти к тебе; но я боюсь света: ты знаешь, он мне действует на нервы и вызывает ужасную головную боль; погаси его.

Я послушалась.

— Ну, как, готово? — спросил он. — Теперь ложись в постель, я должен тебя поцеловать, жди меня.

Это проявление нежности, в которой он мне отказывал уже несколько недель подряд, заставило мое бедное сердце затрепетать от радости и надежды. Мне хотелось думать, что это пробуждение любви повлечет за собой пробуждение его разума и совести. Я села на край постели и стала с восторгом ждать его. Он устремился в мои объятия, распростертые ему навстречу, и, страстно прижав меня к груди, повалил на кровать. Но в то же мгновение какое-то чувство недоверия, ниспосланное мне небом или подсказанное мне моим тонким чутьем, побудило меня провести рукою по лицу того, кто меня обнимал. Леони за время своей болезни отпустил усы и бороду; я же ощутила под рукой гладко выбритое лицо. Я вскрикнула и резко отстранила его.

— Что с тобою? — услышала я голос Леони.

— Разве ты сбрил себе бороду? — спросила я.

— Как видишь, — ответил он.

Но тут я почувствовала, что в то самое время, как голос его звучит у меня под ухом, чьи-то губы впиваются в мои. Я вырвалась с той силою, какую нам придают гнев и отчаяние, и, отбежав в дальний конец комнаты, быстро приподняла ночник, который перед тем лишь прикрыла, но не погасила. Я увидела лорда Эдвардса, сидевшего на кровати с глупым и растерянным видом (кажется, он был пьян), и Леони, который бросился ко мне, словно полоумный.

— Мерзавец! — крикнула я ему.

— Жюльетта, — сказал он сдавленным голосом, глядя на меня шалыми глазами, — уступите, если вы меня любите. Для меня это выход из нищеты, от которой, как вы видите, я погибаю. Речь идет о моей жизни и о моем рассудке, вы это знаете. Спасите меня ценою вашей преданности: а вы — вы будете богаты и счастливы с человеком, который давно уже вас любит и которому ради вас ничего

не жаль. Соглашайся, Жюльетта, — добавил он, понизив голос, — или я зарежу тебя, как только он выйдет из комнаты!

Страх помутил мне разум: я выбросилась из окна, рискуя разбиться. Проходившие мимо солдаты подняли меня, лежавшую без сознания, и внесли в дом. Когда я пришла в себя, Леони и его сообщники уже ушли. Они заявили, что я кинулась из окна в припадке мозговой горячки, когда они вышли в другую комнату, чтобы позвать мне кого-нибудь на помощь. Они притворились страшно потрясенными. Леони оставался дома, пока осматривавший меня хирург не объявил, что никаких переломов нет. Тогда Леони ушел, сказав, что он еще вернется, но прошло два дня, а он не появлялся. Он так и не пришел, и я с той поры его не видела».

На этом Жюльетта кончила свой рассказ и на время умолкла, сломленная усталостью и горестными воспоминаниями.

— Вот тогда-то, бедное мое дитя, — сказал я ей, — я и познакомился с тобою. Я жил в том же доме. Рассказ о твоём падении из окна вызвал во мне известное любопытство. Вскоре я узнал, что ты молода и достойна серьезного внимания; что Леони, обращавшийся с тобою самым грубым образом, в конце концов бросил тебя, лежавшую почти при смерти и совершенно нищую. Мне захотелось на тебя взглянуть. Когда я подошел к твоей постели, ты бредила. О, как ты была красива, Жюльетта! Как прекрасны были твои обнаженные плечи, твои распущенные волосы, губы, пересохшие от жара, лицо, преображенное силой страданий; Какой прекрасной ты казалась мне и в ту минуту, когда, в полном изнеможении, ты роняла голову на подушку, бледная и поникшая, словно белая роза, что осыпается от полуденной жары! Я не мог отойти от тебя. Я почувствовал к тебе какое-то неодолимое влечение, какое-то участие, которое я никогда дотоле не испытывал. Я пригласил лучших врачей города; я обеспечил столь нужный тебе тщательный уход. Бедная брошенная девочка! Я проводил ночи у твоей постели, я увидел твоё отчаяние, понял твою любовь. Я никогда не любил; ни одна женщина, казалось мне, не сможет ответить на ту большую страсть, на какую я чувствовал себя способным. Я искал сердце столь же пылкое, как и мое. Все те, с которыми я соприкасался, внушали мне недоверие, и вскоре, постигнув черствость и суетность женских сердец, я убедился, что сдержанность моя вполне благоразумна. Твое сердце показалось мне

тем единственным, что может меня понять. Женщина, способная на такую любовь и на такие страдания, какие испытала ты, была воплощением моей мечты. Я пожелал, не слишком на это надеясь, завоевать твою нежную привязанность. Я позволил себе сделать попытку тебя утешить, убедившись, что люблю тебя искренне и великодушно. Все, о чем ты говорила в бреду, дало мне возможность узнать тебя настолько же, насколько потом это позволила наша близость. Я понял, что ты женщина возвышенной души, по тем молитвам, которые ты вслух воссылала богу: их непередаваемо скорбное благочестие было воистину потрясающим. Ты просила прощения за Леони, всегда только прощения, и никогда не молила о мщении ему Ты взывала к душам покойных родителей, повествуя срывающимся голосом, ценою каких невзгод ты искупила свое бегство и их скорбь. Порою ты принимала меня за Леони и осыпала гневными упреками; иной раз ты воображала себя вместе с ним в Швейцарии и страстно обнимала меня. Мне было бы нетрудно злоупотребить твоим заблуждением, и любовь, загоравшаяся у меня в груди, превращала твои безумные ласки в настоящую пытку. Но я был готов скорее умереть, нежели поддаться своим желанием, и жульнический поступок лорда Эдвардса, о котором ты неустанно твердила, представлялся мне самой бесчестной подлостью, на какую только способен человек. Наконец мне посчастливилось спасти твою жизнь и рассудок, бедняжка Жюльетта; с той поры ты доставила мне немало страданий и много-много счастья. Быть может, я безумец, потому что мне мало одной твоей дружбы и одного обладания такою женщиной, как ты, но любовь моя неутолима. Я хотел бы быть любимым так же, как был в свое время любим Леони, и я досаждаю тебе этим безудержным желанием. Я лишен его красноречия и обольстительности, зато я люблю тебя. Я тебя не обманывал и никогда не обману. Твое истомленное сердце могло бы давно отдохнуть, уснув на моем. Жюльетта! Жюльетта! Когда ты полюбишь меня так, как умеешь любить?

— Отныне и навеки, — отвечала мне она. — Ты меня спас, ты меня выжил, и ты любишь меня. Я была безумна, теперь это ясно, что любила такого человека. Все, что я тебе сейчас рассказала, вызвало у меня в памяти все мерзости, о которых я почти забыла. Я испытываю лишь отвращение к прошлому и не хочу к нему

возвращаться. Ты хорошо сделал, что заставил меня рассказать обо всем этом; теперь я спокойна и чувствую, что мне уже не дороги связанные с ним воспоминания. А ты — ты мой друг, мой спаситель, мой брат и мой возлюбленный.

— Скажи: и «мой муж», молю тебя, Жюльетта!

— Мой муж, если ты того хочешь, — сказала она, целуя меня с такою пылкой нежностью, какую дотопле еще ни разу не проявляла, и слезы радости и признательности выступили у меня на глазах.

На следующий день, проснувшись, я почувствовал себя таким счастливым, что мне уже не хотелось уезжать из Венеции. Погода стояла великолепная. Солнце было теплым, как весной. Изящно одетые дамы заполняли набережные и смеялись забавным шуткам масок, которые, откинувшись на парапеты мостов, задевали прохожих и отпускали то дерзости дурнушкам, то комплименты хорошеньким женщинам. Был последний день карнавала — печальная годовщина для Жюльетты. Мне хотелось ее развлечь; я предложил ей прогуляться, и она согласилась.

Я испытывал гордость оттого, что она идет со мною рядом. В Венеции женщины редко опираются на руку своего спутника, их только поддерживают под локоть, когда они поднимаются или спускаются по белым мраморным лестницам мостиков, перекинутых на каждом шагу через каналы. В движениях Жюльетты было столько гибкости и грации, что я испытывал истинно детскую радость, когда, при переходе через эти мостики, она слегка опиралась на мою ладонь. Все взгляды были обращены на нее, и женщины, которым обычно красота другой женщины не доставляет удовольствия, глядели по меньшей мере с завистью на ее изящный наряд и на походку, которой им хотелось бы подражать. Мне кажется, я все еще вижу и туалет и осанку Жюльетты. На ней было платье из фиолетового бархата, на шею она накинула боа, а в руках держала маленькую горностаевую муфту. Белая атласная шляпа обрамляла ее все еще бледное лицо, но черты его были так поразительно красивы, что, несмотря на минувшие семь-восемь лет смертельных тревожений и невзгод, она всем казалась самое большее восемнадцатилетней. На ногах у нее были фиолетовые шелковые чулки, такие прозрачные, что сквозь них просвечивала ее кожа, матово-белая, как алебастр. Когда она уже проходила и не было больше видно ее лица, все глядели вслед ее маленьким ножкам, столь редко встречающимся в Италии. Я был счастлив, что ею так любуются, и говорил ей об этом, а она улыбалась мне кротко и нежно. Я был счастлив!..

По каналу Джудекки плыл разукрашенный флагами баркас со множеством масок и музыкантов на борту. Я предложил Жюльетте сесть в гондолу и подойти к баркасу, чтобы посмотреть на карнавальные костюмы. Она согласилась. Целые группы гуляющих последовали нашему примеру, и вскоре мы очутились среди флотилии лодок и гондол, которые сопровождали баркас и как бы служили ему эскортом.

Из разговоров между гондольерами мы узнали, что эта компания замаскированных состоит из богатых и самых модных молодых людей Венеции. Они и в самом деле отличались необычайной элегантностью; костюмы на них были очень богатые, а убранство баркаса составляли шелковые паруса, вымпела из серебристого газа и прекрасные восточные ковры. Наряды замаскированных воспроизводили одежду старых венецианцев, которых Паоло Веронезе, удачно используя анахронизм, изобразил на многих полотнах религиозного содержания, в том числе на великолепной картине «Брак в Кане Галилейской», что была преподнесена Венецианской республикой в дар Людовику XIV и ныне находится в парижском музее. На борту баркаса я особенно заприметил человека в длинном бледно-зеленом шелковом одеянии, затканном золотыми и серебряными арабесками. Он стоял и играл на гитаре; его благородная поза, высокий рост и пропорциональное сложение были так хороши, что казалось, будто он нарочно создан для того, чтобы носить этот великолепный наряд. Я указал на незнакомца Жюльетте, которая рассеянно взглянула на него и, думая о чем-то другом, ответила:

— Да, да, восхитителен.

Мы продвигались все дальше и, подталкиваемые другими лодками, подошли вплотную к разукрашенному баркасу как раз с той стороны, где находился этот человек. Жюльетта стояла рядом со мною, опершись о кабину гондолы, чтобы не упасть от толчков, которые мы то и дело получали. Внезапно незнакомец наклонился к Жюльетте, словно желая убедиться, что это именно она, передал гитару соседу, сорвал с себя черную маску и снова повернулся к нам. Я увидел его лицо, на редкость красивое и благородное. Жюльетта его не заметила. Тогда он шепотом окликнул ее, и она вздрогнула, точно от электрического удара.

— Жюльетта! — повторил он громче.

— Леони! — иступленно воскликнула она.

Все это до сих пор мне еще кажется сном. Меня будто ослепили: на какое-то мгновение я, помнится, вообще перестал что-либо видеть. В безудержном порыве Жюльетта устремилась к борту. Вмиг, как по волшебству, она очутилась на баркасе в объятиях Леони; губы их слились в безумном поцелуе. Кровь бросилась мне в голову, зазвенела в ушах, застлала глаза сплошной пеленой. Не знаю, как все произошло. Я пришел в себя, лишь когда стал подниматься по лестнице в свой номер. Я был один; Жюльетта уехала с Леони.

Мною овладела неслыханная ярость, три часа кряду я вел себя, точно эпилептик. К вечеру мне пришло письмо от Жюльетты следующего содержания:

«Прости, прости меня, Бустаменте! Я люблю тебя, глубоко уважаю и, стоя на коленях, благословляю за твою любовь и твои благодеяния. Не питай ко мне ненависти: ты ведь знаешь, что я себе не принадлежу и чья-то незримая рука направляет меня и бросает, помимо моей воли, в объятия этого человека. О друг мой, прости меня, не мсти ему! Я люблю его и не могу без него жить. Я не могу знать, что он живет на свете, и не стремиться в его объятия, я не могу видеть, что он проходит мимо, и не следовать за ним. Я его жена, он мой властелин, — тебе это понятно! Мне не уйти от его пламенной любви, от его власти. Ты же видел, могла ли я противиться его призыву. Какая-то притягательная сила, как некий магнит, подняла меня и бросила ему на грудь. А ведь я стояла подле тебя, и рука моя лежала в твоей. Почему ты меня не удержал? У тебя не достало силы: рука твоя разжалась, губы твои даже не смогли меня окликнуть. Ты видишь — от нас это не зависит. Существует некая тайная воля, некая магическая сила, которой мы подвластны и которая совершает эти поразительные вещи. Я не могу порвать узы между собой и Леони: каторжников спаривают цепи, прикованные к общему ядру, но приковала их рука божья.

О дорогой мой Алео, не проклинай меня! Я у твоих ног. Молю тебя, позволь мне быть счастливой. Если б ты знал, как он меня еще любит, с какую радостью он меня встретил! Какие это были ласки, какие слова, какие слезы!.. Я будто пьяная, мне кажется, что это сон!.. Я должна простить ему преступление, которое он совершил в отношении меня; он был тогда сумасшедшим. Расставшись со мною,

он приехал в Неаполь в состоянии такого душевного расстройства, что его тотчас заперли в больницу для умалишенных. Не знаю, каким чудом он вышел оттуда здоровым и по какой милости судьбы он снова достиг теперь вершины богатства. Но он еще более красив, более блестящ и более страстен, чем когда-либо. Позволь же, позволь мне любить его, даже если я буду счастлива всего лишь день и завтра умру. Разве тебе не подобает меня простить за то, что я люблю его так безумно, — тебе, питающему ко мне столь же слепую и злополучную страсть?

Прости, я схожу с ума: я уже не знаю, ни о чем говорю, ни о чем прошу тебя. О, не о том, чтобы меня подобрать и простить, когда он меня снова бросит. Нет! Для этого я слишком горда, не бойся! Знаю, что я уже недостойна тебя, что, устремившись на этот баркас, я навсегда рассталась с тобою, что я не смогу ни выдержать твоего взгляда, ни коснуться твоей руки. Прощай же, Алео! Да, я пишу, чтобы проститься с тобою, ибо не могу уйти от тебя, не сказав, что сердце мое уже обливается кровью, что настает день, когда оно порвется от сокрушения и раскаяния. Да, ты будешь отомщен! Теперь же успокойся! Прости, пожалей меня, помолись обо мне. Знай, что я не какая-нибудь неблагодарная дура, которой нет дела до твоего великодушия и до всего, чем она тебе обязана. Я всего лишь несчастная, которую влечет за собою рок и которая не в силах остановиться. Оглянувшись на тебя, я шлю тебе тысячу прощальных приветов, тысячу поцелуев, тысячу благословений. Но буря настигает меня и уносит вдаль. Погибая на камнях, о которые она меня разобьет, я буду повторять твое имя и призывать тебя, как ангела прощения, как посредника между богом и мною.

Жюльетта».

Письмо это вызвало у меня новый приступ ярости; затем наступило отчаяние: три часа подряд я рыдал как ребенок и наконец, в изнеможении от усталости, заснул на стуле посреди той самой большой комнаты, где Жюльетта рассказала мне свою историю. Проснувшись, я был уже спокоен. Я растопил камин и медленным, размеренным шагом прошелся несколько раз по комнате.

Когда рассвело, я снова сел и уснул; решение мое созрело, я окончательно успокоился. В девять часов утра я вышел из дому, собрал сведения во всех концах города и узнал некоторые важные для меня

подробности. Никто не знал, каким образом Леони снова поправил свои дела; известно было лишь, что он богат, сорит деньгами и распутничает; все модники бывали у него, рабски подражали ему в манере одеваться и становились его товарищами по развлечениям. Маркиз де *** всюду сопровождал его и делил с ним все радости роскошной жизни; оба они были влюблены в очень известную куртизанку, но в силу какого-то неслыханного каприза эта женщина отвергла все их предложения. Ее упорство так разожгло желания Леони, что он давал ей самые невероятные обещания, и не было такого безумства, на которое она не могла бы его подбить.

Я отправился к этой женщине, но повидать ее оказалось нелегко. Наконец меня впустили и провели к ней; она надменно спросила, что мне угодно, тем тоном, каким говорят, когда желают поскорее избавиться от назойливого посетителя.

— Я пришел просить вас об услуге, — сказал я. — Вы ненавидите Леони?

— Да, — отвечала она, — я ненавижу его смертельно.

— Осмелюсь спросить, почему?

— Леони соблазнил мою младшую сестру, которая жила во Фриуле, девушку честную и поистине святую. Она умерла в больнице. Я готова разрезать ему сердце зубами.

— Не хотите ли пока что помочь мне подвергнуть его жестокой мистификации?

— Да, хочу.

— Не угодно ли вам написать ему и назначить свидание?

— Да, но только с условием, что я на него не пойду.

— Разумеется. Вот образец письма, которое вы напишете:

«Я знаю, что ты отыскал свою жену и что ты ее любишь. Вчера я не желала тебя знать: это казалось мне слишком простым; сегодня мне представляется довольно забавным заставить тебя изменить. Впрочем, мне хочется знать, насколько велико твое желание обладать мною и готов ли ты на все, как ты этим похваляешься. Я знаю, что нынче ночью ты даешь концерт на воде; я сяду в гондолу и отправлюсь на праздник. Ты ведь знаешь моего гондольера Кристофано; стой на борту своего баркаса и прыгай в мою гондолу, как только ты его заметишь. Я пробуду с тобой час, после чего ты мне надоешь, должно

быть, навсегда. Мне не нужны твои подарки, мне нужно лишь это доказательство твоей любви. Нынче вечером или никогда».

Мизана нашла письмо оригинальным и, смеясь, переписала его.

— А что вы с ним сделаете, когда посадите его в гондолу?

— Я высажу его на берегу Лидо и заставлю провести там довольно долгую и довольно холодную ночь.

— Я охотно бы вас расцеловала в знак признательности, — сказала куртизанка, — но у меня есть любовник, которого я хочу любить всю неделю. Прощайте.

— Вам придется, — добавил я, — предоставить в мое распоряжение вашего гондольера.

— Ну конечно, — ответила она. — Он умен, не болтлив, крепкого сложения. Поступайте с ним по вашему усмотрению.

Я вернулся к себе и весь остаток дня употребил на то, чтобы зрело обдумать предстоявшее мне дело. Наступил вечер; Кристофано на своей гондоле ждал меня под окном. Я надел костюм гондольера. Вдали появился баркас Леони, освещенный фонариками из разноцветных стекол, которые сверкали, как драгоценные камни, начиная с верхушек мачт и кончая самыми незначительными снастями; когда смолкала оглушительная музыка, со всех сторон взлетали ракеты. Я стал на корме гондолы с веслом в руке и нагнал баркас. Леони стоял на борту в том же костюме, что и накануне; Жюльетта сидела среди музыкантов; на ней был тоже роскошный наряд, но она казалась унылой и задумчивой и не обращала на Леони внимания. Кристофано снял шляпу и поднес фонарь к лицу. Леони узнал его и прыгнул в гондолу.

Как только он там очутился, Кристофано сказал ему, что Мизана ждет его в другой гондоле, возле городского сада.

— Почему же она не здесь? — спросил он.

— Non so [note 2](#), — равнодушно отвечал гондольер и снова принялся грести. Я ему усердно помогал, и вскоре мы миновали городской сад. Нас окутывал густой туман. Леони несколько раз наклонялся и спрашивал, скоро ли мы будем на месте. Мы быстро скользили по спокойной лагуне; луна, бледная и подернутая дымкой, не светила, а лишь белела в ночи. Мы вышли тайком, как контрабандисты, за линию морского кордона, которую обычно пересекают только с разрешения таможенной полиции, и остановились лишь у песчаного берега Лидо, пристав к отдаленной отмели, чтобы случайно не повстречаться с людьми.

— Мерзавцы! — вскричал наш пленник. — Куда вы, черт возьми, меня привезли? Где лестницы городского сада? Где гондола Мизаны? Проклятие! Мы врезались в песок! Вы заблудились в тумане, олухи вы эдакие, и высаживаете меня наугад?..

— Нет, синьор, — сказал я ему по-итальянски, — благоволите пройти со мною шагов десять, и вы встретите того, кого вы ищете.

Он последовал за мной, а Кристофано, в соответствии с полученными приказаниями, тотчас же вышел на гондоле в лагуну и направился к противоположному берегу острова, чтобы подождать меня там.

— Да остановишься ли ты, разбойник! — крикнул мне Леони, после того как мы прошли несколько минут по берегу. — Ты что, хочешь здесь меня заморозить? Где твоя госпожа? Куда ты меня ведешь?

— Синьор, — ответил я, оборачиваясь к нему и вытаскивая из-под плаща то, что захватил с собой, — позвольте мне осветить вам путь.

С этими словами я достал потайной фонарь, открыл его и повесил на причальный столб.

— Черт подери, что ты там делаешь? — спросил он. — Да вы что оба, рехнулись? В чем дело?

— Дело в том, — ответил я, доставая из-под плаща две шпаги, — что вам придется со мною драться.

— С тобою, негодяй? Да я изобью тебя, как ты того заслужил!

— Одну минуту! — сказал я, хватая его за шиворот с такой силой, что это его несколько ошеломило. — Я не тот, за кого вы меня принимаете. Я такой же дворянин, как вы; к тому же я порядочный человек, а вы мерзавец. Стало быть, дерясь с вами, я оказываю вам слишком большую честь.

Мне показалось, что противник мой дрожит и пытается вырваться у меня из рук. Я схватил его посильнее.

— Да что вам от меня нужно? — вскричал он. — Ради самого дьявола, кто вы? Я вас не знаю. Почему вы меня привезли сюда? Вы собираетесь меня убить? У меня при себе денег нет. Вы вор?

— Нет, — ответил я, — вор и убийца здесь — только вы, вам это отлично известно.

— Вы, стало быть, мой враг?

— Да, я ваш враг.

— Как вас зовут?

— Это вас не касается; вы это узнаете, если убьете меня.

— А если я вас не хочу убивать? — вскричал он, пожимая плечами и стараясь придать себе уверенность.

— Тогда вы дадите мне вас убить, — отозвался я. — Клянусь вам: один из нас останется нынче ночью здесь.

— Вы бандит! — закричал он, отчаянно пытаясь высвободиться. — На помощь! На помощь!

— Бесплезно кричать, — сказал я. — Шум моря заглушает ваш голос, и любая человеческая помощь от вас далека. Успокойтесь, или я вас задушу! Не выводите меня из себя, воспользуйтесь шансами на спасение, которые я вам предоставляю. Я хочу вас убить честно, а не подло. Вам известно такого рода рассуждение? Деритесь со мною и не заставляйте меня прибегнуть к силе, преимущество в которой, как видите, на моей стороне.

С этими словами я тряхнул его за плечи так, что он согнулся, как тростинка, хотя был на целую голову выше меня. Он понял, что он в моей власти, и попытался меня разубедить.

— Но позвольте, сударь, если вы не сошли с ума, — сказал он, — у вас должна быть причина, чтобы драться со мной. Что я вам сделал?

— Мне не угодно объяснять вам это, — отвечал я, — а вы подлец, коли спрашиваете о причине моей мести, тогда как скорее вам подобало бы требовать у меня удовлетворения.

— Но за что? — снова спросил он. — Я вас никогда не видел. Здесь недостаточно светло, и я не могу различить черты вашего лица, но уверен, что голос ваш я слышу впервые.

— Трус! Вы даже не считаете необходимым отомстить человеку, который посмеялся над вами, назначив вам свидание, чтобы одурачить вас, и помимо вашей воли привез вас сюда ради вызова на поединок! Мне говорили, что вы человек храбрый. Неужто я должен дать вам пощечину, чтобы пробудить в вас мужество?

— Вы наглец! — крикнул он, пересиливая свое малодушие.

— А, так-то лучше! Я призываю вас к ответу за это слово, а вам сейчас отвечу за эту вот пощечину.

И я слегка ударил его по щеке. Он взвыл от ярости и ужаса.

— Не бойтесь, — сказал ему я, держа его за руку, а в другую вкладывая ему шпагу, — защищайтесь! Я знаю, что вы лучший фехтовальщик в Европе, мне до вас далеко. Правда, я хладнокровен, а вы перепуганы, это уравнивает наши шансы.

И не давая ему опомниться, я энергично на него напал. Негодяй кинул шпагу и пустился наутек. Я бросился за ним вдогонку, настиг

его и яростно встряхнул. Я пригрозил, что швырну его в море и утоплю, если он не будет защищаться. Видя, что спастись бегством ему невозможно, он подобрал с земли шпагу и обрел то мужество отчаяния, которое вселяют в самые боязливые души любовь к жизни и неминуемая опасность. Но то ли фонарь светил слишком слабо и противник мой не мог точно рассчитать свои удары, то ли испытанный им страх начисто лишил его самообладания, — так или иначе, я убедился, что этот грозный дуэлянт фехтует удручающе плохо. Мне так не хотелось наносить ему смертельный удар, что я его долго щадил. Наконец, желая сделать ложный выпад, он наткнулся на мою шпагу, и та вошла ему в грудь по эфес.

— Правосудие! На помощь! — крикнул он падая. — Меня убили!

— Ты требуешь правосудия — вот тебе оно! — сказал ему я. — Ты погибнешь от моей руки, точно так же как Генриет погиб от твоей.

Он глухо зарычал, вгрызся зубами в песок и испустил дух.

Я взял обе шпаги и направился было на поиски моей гондолы; но когда я проходил по острову, какое-то неведомое волнение охватило меня, терзая на тысячу ладов. Силы мои внезапно иссякли. Я присел у одного из многих полузаросших травой еврейских надгробий, которые суровый и соленый морской ветер разъедает изо дня в день. Луна понемногу выходила из пелены тумана, и белые камни этого обширного кладбища ярко выделялись на фоне темной зелени Лидо. Я раздумывал над тем, что сейчас совершил, и месть моя, от которой я ждал столько радости, причиняла мне только грусть. Меня словно мучили угрызения совести, и вместе с тем я полагал, что поступаю вполне законно и совершаю даже благодеяние, очищая землю от этого сущего дьявола и избавляя от него Жюльетту. Но я никак не ожидал, что он окажется трусом. Я надеялся встретить отважного бретера и, вызывая его на поединок, мысленно прощался с жизнью. Меня смущало и даже как-то страшило, что его я заставил расстаться с нею так просто. Я чувствовал, что не месть упоила мою ненависть, — ее заглушило презрение. Убедившись, что он такой трус, думалось мне, я бы должен был его пощадить; следовало бы забыть о злобе на него и о любви к женщине, которая способна предпочесть мне такого человека, как он.

Смутные мысли, тревожные и горестные, теснились у меня в голове. Холод, ночь, зрелище могил порою меня успокаивали; они

погружали мою душу в какое-то сонное оцепенение, от которого я внезапно пробуждался, мучительно припоминая свое собственное положение и представляя себе отчаяние Жюльетты, которое прорвется завтра, когда она увидит этот труп, что лежит на окровавленном песке неподалеку от меня. «Быть может, он не умер», — подумал я. У меня появилось смутное желание убедиться в этом. Мне почти что хотелось вернуть ему жизнь. Первые проблески утра застали меня в этом нерешительном настроении, и тут только я осознал, что осторожность диктует мне удалиться отсюда. Я разыскал Кристофано, который спал глубоким сном в своей гондоле, и с трудом его разбудил. Я позавидовал такому безмятежному сну: подобно Макбету, я расстался с ним надолго.

Я возвращался домой, медленно покачиваемый на зыби вод, которые встававшее солнце уже окрашивало в розовые тона. Мы проходили вблизи парохода, который курсирует между Венецией и Триестом. Был час отплытия; колеса уже пенили воду, и красные искры летели из трубы вместе с кольцами черного дыма. Несколько лодок доставляли последних пассажиров. Чья-то гондола прошла вплотную мимо нашей и уцепилась за пакетбот. Мужчина и женщина вышли из этой гондолы и легко взбежали по спущенному трапу. Как только они очутились на палубе, пароход мгновенно отошел. Он и она, опершись на поручни, глядели на струю за кормой. Я узнал в них Жюльетту и Леони. Мне почудилось, что я вижу сон. Я провел рукой по глазам и окликнул Кристофано.

— Неужто это барон Леоне де Леони едет в Триест с какой-то дамой? — спросил я.

— Да, синьор мой, — ответил он.

С губ моих сорвалось ужасное ругательство.

— А кто ж тогда тот человек, которого мы привезли вчера вечером на Лидс? — снова обратился я к гондольеру.

— Эччеленца его отлично знает, — отвечал тот, — это маркиз Лоренцо де ***.

КОММЕНТАРИИ

Роман «Леоне Леони» вышел в свет в мае 1835 года. Он был написан во время пребывания Жорж Санд и Мюссе в Венеции в 1834 году. Роман был начат в дни карнавала, во второй половине февраля, и закончен в первых числах марта. Для создания образа заглавного героя, авантюриста и игрока, Жорж Санд использовала многое из истории Тренмора — одного из персонажей предшествующего романа «Лелия». В первом варианте романа «Лелия» (1833) Тренмор в юности был изображен страстным игроком. Пагубная страсть к картам и нечестная игра привели его на каторгу. После того, как во второй редакции романа Жорж Санд изменила характер Тренмора, она включила рассказ о его пагубной страсти к игре в роман «Леоне Леони».

«Леоне Леони» был задуман как своеобразное противопоставление известному роману аббата Прево «Манон Леско» (1731). Жорж Санд меняет взаимоотношения героев и, верная одной из главных тем своих романов — раскрытию достоинств и душевного богатства женской природы, показывает беспредельность самоотверженной женской любви, страдающей от эгоизма и порочности героя. «Это позволит создать трагические ситуации, ибо порок у мужчины подчас граничит с преступлением, а восторженность женщины близка порою к отчаянию», — писала Жорж Санд.

Самопожертвование, слепота любви правдоподобна и психологически оправдана у юной Жюльетты, находящейся всецело во власти Леоне Леони. Жорж Санд придает Леоне Леони черты исключительности, наделяет его необыкновенным даром убеждения, пылким красноречием. Это незаурядный человек, становящийся жертвой своей роковой страсти к картам. Писательница впоследствии подчеркивала, что образ Леоне Леони — один из примеров романтической фантазии автора, что ее интересовало изображение таинственной, непреодолимой силы человеческих страстей.

В.Г.Белинский отмечал психологическую правдивость основного конфликта книги. Говоря о героине романа Эжена Сю «Тереза

Дюнуей», любящей негодяя и преступника, он замечает: «Мысль верная, но не новая. Ее уже давно прекрасно выразил аббат Прево в превосходном романе своем „Манон Леско“. Еще шире, глубже и полнее развила эту мысль Жорж Санд в одном из лучших романов своих — „Леоне Леони“.

Роман «Леоне Леони» интересен также и тем, что здесь Жорж Санд впервые стремится соединить особенности психологического романа с романом сюжетным, изобилующим неожиданными ситуациями, происшествиями, резкими поворотами действия, загадками и тайнами. Это сочетание станет характерным для творческой манеры писательницы.

У современников роман пользовался большим успехом, он привлекал занимательностью сюжета, в отличие от предшествующих романов, он не пугал буржуазного читателя остротой затронутых проблем, не требовал ответа на «проклятые вопросы», как «Индиана» или «Лелия». Однако и на этот раз не обошлось без упреков и негодования: Жорж Санд обвиняли в крайней безнравственности героя, в отсутствии нравоучительных выводов.

В России роман «Леоне Леони» вышел в свет в 1840 году и с тех пор не издавался. В настоящем издании он печатается в новом переводе.

...грубая дробь австрийского барабана... — В описываемое в романе время Венеция, потерявшая в XVIII веке независимость, находилась под властью Австрии.

«Валери» (1803) — роман баронессы Барбары Юлии Крюденер, прибалтийской немки, писавшей по-французски.

«Эжен де Ротелен» (1808) — роман французской писательницы Суза-Ботело (Аделаида Мария-Эмилия-Фянель).

«Мадемуазель де Клермон» (1802) — роман, французской писательницы Стефании Фелисите Дюкре де Сент-Обен, графини де Жанлис (1746-1830).

«Дельфина» (1802) — роман французской писательницы Анны-Луизы Жермены де Сталь (1766-1817).

Верный пастух — герой одноименной драматической пасторали итальянского поэта Джамбаттисты Гварини (1538-1612).

notes

Note1

слуга (итал.)

Note2

не знаю (итал.)